

ПРЕДАЧА

ЖУРНАЛЪ СВОБОДНОЙ МЫСАИ

19°7

Ч. 5
22/1907

№ 7

325 w^r-1

ПРЕДАЦІЯ

ЖУРНАЛЪ СВОБОДНОЙ МЫСЛИ

19°7

№ 7

1907.

СОДЕРЖАНИЕ.

Май.

Стр.		Стр.	
Евг. Тарасовъ. 2 стихотв.	3	Н. Поярковъ. Пьеръ Луисъ. Пѣсни Билитисъ.	54
А. Боровой. Реформа и революція	4	Б. Группильонъ. О. Сологубъ. Истлѣвающія личины.	55
Н. Морозовъ. Знакъ. Стих.	8	Б. Грифцовъ. Г. Чулковъ. Тайга.	56
А. Ремизовъ. Слоненокъ. Разсказъ.	8	В. Стражевъ. С. Сергѣевъ-Ценскій. Разсказы.	57
А. Блокъ. 2 стихотв.	17	Б. Группильонъ. К. Бальмонтъ. Злые чары.	57
Антонъ Шербакъ. Духоборы въ Америкѣ.	18	А. БѣлыЙ. С. Соловьевъ. Цвѣты и ладанъ.	58
С. Соловьевъ. 3 стихотв.	27	А. Д—въ. И. Каракинъ. Исканія.	60
Юрій Череда. Графинюшка. Разсказъ.	29	Г. Тверской. Ю. Gonчаренко. Вечерніе огни.	60
В. Линденбаумъ. 2 стихотв.	34	И. Выжигинъ. В. Сиповскій. Пушкинъ	61
Н. Минскій. Соціализмъ и анархизмъ.	34	Аленскъ. М. Гофманъ. Соборный индивидуализмъ.	61
Alexander. 2 стихотв.	45	И. Аиненскій. Проф. Зелинскій. Соперники христіанства.	63
Б. Коіранскій. Горе. Разсказъ.	46	Б. Грифцовъ. В. Свенцицкій. Религіозный смыслъ Бранда.	63
О. Сологубъ. Демоны поэтовъ.	48	А. Ященко. М. Бакунинъ. Полное собраниe сочиненій.	64
К. Бальмонтъ. О жестокости...	51	С. Шумаковъ. Станиславъ. Теорія и практика анархизма.	64
Изъ жизни.	53	С. Шумаковъ. Сборники. Борьба общественныхъ силъ.	65
Бібліографія:		Отъ редакціи.	66
Г. Чулковъ. О. Сологубъ. Мелкій бѣсь..	54		

Женщина и девушка.

Женщина и девушка встретились негаданно
Въ часъ, когда надъ городомъ день уже погасъ.
Изъ церквей отворенныхъ струились нити ладана,
Надъ темными бульварами еще не вспыхнуль
газъ.

Та, что тайну выдала, и та, что неразгадана,
Встретились нечаянно въ сумеречный часъ

Девушка—вся свѣтлая, вся—радость недоступная,
Невѣста нерасцѣтшая, но близкая къ вѣнцу.
Женщина—румянами скрыла тѣни трупныя,
Что утромъ расползаются по дряблому лицу.

Девушка и женщина. Святая и преступная.
Жизни не узнавшая и близкая къ концу.

Женщина шла медленно, маня, шуршала юбками,
Не прятала въ ихъ шелестъ контуровъ ноги.
Въ сумеркахъ у девушки черты казались хруп-
кими,

Были торопливыми некрупные шаги.

Женщина продажная и девушка съ покуп-
ками,

Встрѣтившись нечаянно, взглянули, какъ
враги.

Взглянули, какъ далекія, но первому движенью
Что-то въ нихъ отвѣтило, мелькнуло изъ-подъ
вѣкъ,

Мелькнуло незнакомое злобѣ и презрѣнію,
Путы чувствъ нашептанныхъ кто-то пересѣкъ.
Не поняли, не поняли... Чуждыя прозрѣнію,
На мигъ другъ другу близкія, далекія на-
вѣкъ.

Эта, ясноокая, въ которой недосказано
Столько словъ плѣнительныхъ, не скучныхъ ни-
когда,
И та, съ глазами тусклыми, въ которыхъ вся раз-
сказана

Повѣсть нисхожденія, безстыдства и стыда.
Не поняли, что городомъ онѣ другъ съ дру-
гомъ связаны,
Что связанными накрѣпко пребудутъ на-
всегда,

Что, чѣмъ грязнѣй объятьями женщина захватана,
Тѣмъ чище будетъ чистая въ девичьей красотѣ.
И гляже будетъ проданной дорога въ гробъ ука-
тана,

Чѣмъ радостиѣ девушки довѣрится мечтѣ.
Не поняли. И девушка сѣтью улицъ спря-
тана.

Женщина ужъ куплена, исчезла въ темнотѣ.

Евг. Тарасовъ.

Вербная суббота.

Мой забытый переулокъ
Странно праздниченъ и новъ.
Учащенный шумъ шаговъ
Въ полуутымъ прозрачной гулокъ.
Въ переулкѣ—старъ и младъ,
Всѣ несутъ нестрашный кладъ,
Чтобы свѣтомъ безгрѣховнымъ
Непогасшихъ, хрупкихъ свѣчъ
Предъ иконами зажечь,
Въ жертву мертвымъ и безкровнымъ
Очищающій огонь.

Праздникъ вербъ—пушистыхъ, ломкихъ...
Тамъ и здѣсь мелькнетъ въ потемкахъ
Свѣчку скрывающая ладонь,
Въ свѣтѣ бѣгломъ и неровномъ
Тамъ и здѣсь блеснетъ кольцо,
Тонкій профиль вдругъ возникнетъ,
И надъ свѣчкою поникнетъ
Чье-то свѣтлое лицо.

Былъ и я такимъ когда-то,
Былъ и я когда-то малъ,
Бережливо сохранялъ
Огонекъ свой желтоватый,
Если гасъ у Бога взятый—
У сосѣда занималъ.
Я большой, не прежній, выросъ,
Не скользну тайкомъ на клироcъ,
Вербной свѣчки не зажгу,
Не хожу съ нестрашнымъ кладомъ,
Огонька не берегу,
Темъ разсѣивая взглядомъ
Широко открытыхъ глазъ.
Мой огонь давно погасъ.

Евл. Тарасовъ.

Реформа и революція.

ОЧЕРКИ.

„Geben sie sich weise, so fröstelt mich ihrer Kleinen Sprüche und Wahrheiten: ein Geruch ist oft an ihrer Weisheit, als ob sie aus dem Sumpfe stamme: und wahrlich, ich hörte auch schon den Frosch aus ihr quaken!..

„Wir sind einander fremd, und ihre Tugenden gehn mir noch mehr wider den Geschmack, als ihre Falschheiten und falschen Würfel...“

F. Nietzsche.

„Въ наши дни вошло въ обычай у пасторовъ, нанившихся прямо или косвенно, сознательно или безсознательно, объять грѣхи плутократовъ, и у профессоровъ, нанившихся прямо или косвенно, сознательно или безсознательно, воспитывать дѣтей плутократовъ въ такомъ духѣ, чтобы они продолжали грѣхи своихъ отцовъ...“

Тукеръ.

I.

Соціальный вопросъ—наиболѣе грандіозная и жгучая проблема современаго человѣчества. Онъ—истинный властитель думъ не нашего только, но и всѣхъ грядущихъ за нами поколѣній. Красной, воспаленной полосой стоять онъ въ сознаніи человѣчества. Проблемы культуры, проблемы морали не смѣютъ обойти его. Если прежде только величавые трактаты отдѣльныхъ борцовъ мысли говорили намъ о безднахъ, которыя живутъ рядомъ съ нашимъ спокойнымъ существованіемъ, то сейчасъ уже сотни тысячъ и миллионы голосовъ ревутъ и вопятъ намъ, что далѣе такъ жить нельзя, что каждое мгновеніе нашей жизни—безнравственно, что оно отравлено холодомъ смерти такихъ же людей, какъ мы.

И, вступая сознательно въ міръ, мы не можемъ войти въ него безъ содроганій, безъ страшной жажды разсѣять гнетущій нась кошмаръ, сказать свое разрѣшающее, освобождающее слово.

Человѣчество не могло остаться и не осталось безучастнымъ къ окружающему его злу: оно накопило груды разнообразнѣйшаго материала для сужденія о размѣрахъ и характерѣ этого зла, оно изготвило груды формулъ, теорій, системъ для лѣченія его. Самая психика сострадающихъ людей отлилась въ двѣ ярко законченныя формы.

Одна категорія людей, проповѣдуя милость къ угнетеннымъ, рекомендуетъ всѣ болѣзни врачевать участливымъ словомъ, филантропіей, маленькими самопожертвованіями, воззваніями къ терпѣнію и здравому смыслу. Эта порода людей любить говорить о небесныхъ наградахъ, о будущемъ воздаяніи за страданія, если она религіозна въ пошломъ смыслѣ этого слова. Она старается усыпить человѣчество сладкими мечтаніями о будущей красивой и свѣтлой жизни или подслastить его существованіе леденцами своей крохотной философіи, если считаетъ себя достаточно позитивной и просвѣщенной, чтобы скептически относиться къ благамъ будущей жизни, о которыхъ съ пылкимъ одушевленіемъ благовѣстятъ религіозные угнетатели.

Эта категорія людей, несмотря на величайшее разнообразіе отг҃нковъ, стоитъ за мирныя средства борьбы, допуская открытыя выступленія лишь въ качествѣ временнай исключительной мѣры; но, она не остановится ни передъ возмездіемъ, ни передъ насилиемъ, если кто-либо посягнетъ на ея собственное благополучіе или самозванно не-признанными ею средствами вздумаетъ бороться съ тѣмъ зломъ, на устраненіе котораго береть она себѣ монополію.

Другая категорія людей не говорить о милосердіи, она отвергаетъ его!

Она вѣритъ въ возможность счастливой жизни для всего человѣчества; она не хочетъ знать благочестивыхъ проповѣдниковъ, представляющихъ земное существованіе, какъ вѣчную „юдоль скорби“. Она не совѣтуетъ нагимъ мириться съ тѣми пестрыми заплатами, которая торопятся нашить на ихъ убогое рубище апостолы мира и терпѣнія. Она не признаетъ неизбѣжности страданій, не признаетъ креста и примиреній; она призываетъ къ мщенію, къ возстановленію справедливости, зоветъ къ насилию и борьбѣ, когда наглый экспропріаторъ прикрываетъ наготу своихъ во-жделеній молитвенникомъ, соображеніями общаго блага, парламентскими рѣшеніями. Безъ смятенія несетъ она кровь и смерть на острѣ своего меча, ибо никогда не разить она невинныхъ; мечъ падаетъ лишь на того, кто посягаетъ на чужую личную свободу въ той или другой формѣ. Справедливость для нея выше жалости, ибо жалость и милосердіе къ несправедливому возвращаютъ новая несправедливости и новое зло!

Первая категорія людей—многочисленна! Въ переднихъ рядахъ ея—всѣ тѣ, кто полагаетъ, что все—„ко благу“, кто всѣ конкретныя проявленія зла желаетъ объяснить испытаніями, ниспосланнными свыше, за совершенные человѣчествомъ грѣхи. Они не останавливаются передъ теоріей „моральной круговой поруки“, когда страдаетъ невинный.

Къ такимъ фанатикамъ земного благополучія до настоящаго времени принадлежитъ ex officio громаднѣйшая часть всего духовенства: одни, болѣе наивные, вѣря въ свои душеспасительныя теоріи, другіе, понимая, что такое соціально-философское passepartout можетъ обеспечить еще на долгое время беспечальное существованіе всѣхъ богослововъ. Пастыри ведутъ за собой цѣлое стадо пасомыхъ „вѣрующихъ“, „мистиковъ“, „лично самовершенствующихся“ и т. п., и т. п.

Слѣдующій подвидъ этой группы составляютъ тѣ, кто, не отрицаю соціальной розни и классовой вражды, видитъ въ нихъ лишь временную и не необходимую особенность современного строя, кто источникъ всѣхъ общественныхъ золъ видитъ въ дурномъ правительстве, дурныхъ законахъ или недостаточномъ просвѣщении массъ. Хозяйственная свобода остается для нихъ неизбѣжной предпосылкой всякаго разумно и справедливо устроенного человѣческаго общежитія.

Они—суетливы, съ пѣной у рта накидываются на разные мелкие непорядки, любятъ шумъ, охотно погружаются въ философіи „здраваго смысла“, „государственности“ и прочія, успокаивающія ихъ отъ тревожащей сердце и совѣсть дѣйствительности. Они прославляютъ „маленькая дѣла“, говорятъ о необходимости учета наличныхъ силъ, о трезвомъ отношеніи къ дѣйствительности. Они—брзгливы, щепетильны ко всему, что можетъ такъ или иначе замарать ихъ личную чистоту, подозрительны ко всяkimъ новшествамъ, послѣдней инстанціей во всемъ считаются: на Западѣ—политической катехизисъ привилегированной части общества, у настъ—опытъ Запада. Въ конечномъ счетѣ, вся эта группа исповѣдуется довольно ограниченный кодексъ дешевой буржуазной морали, легко мирящейся съ возведеніемъ карточныхъ домиковъ на костяхъ ближняго.

Въ этой группѣ—всѣ, такъ-называемые „либералы“, буржуазные реформисты всѣхъ оттѣнковъ.

Наконецъ, въ третью группу этой категоріи входятъ всѣ тѣ, кто, признавая классовую борьбу за основной принципъ современной соціальной жизни и зная, что мира нѣть и быть не можетъ, видитъ, тѣмъ не менѣе, спасеніе угнетенныхъ въ соглашеніяхъ и договорахъ съ эксплоататоромъ.

Какъ либералы—становятся они монополистами спасенія, усваиваютъ себѣ постепенно начальническій тонъ, создаютъ неумолимую партійную

дисциплину. Изъ друзей и представителей интересовъ угнетенного класса превращаются они въ мелочныхъ и придиличныхъ опекуновъ; забывая о дѣйствительно жизненныхъ интересахъ опекаемыхъ, стремятся они ввести пролетаріатъ въ собственный міръ априорныхъ, нерѣдко фальшивыхъ построений; съ непоколебимымъ упрямствомъ навязываютъ его опекаемымъ, обставляя его научнымъ аппаратомъ и грозя, что вѣ рекомендованныхъ ими средствъ нѣть спасенія.

Опекуны живутъ своей собственной жизнью, далекой отъ жизни тѣхъ, кого они защищаютъ, живутъ въ иной средѣ, живутъ съ другими людьми; они утрачиваютъ жесткость и непримиимость борца, становятся политиками, дипломатами; „бунтарство“ вырождается въ „салонный соціализмъ“; классовая борьба сохраняется лишь какъ формально-логическій значекъ партіи, и тамъ, где прежде стояли одушевленные проповѣдники, копошатся теперь торговцы и честные маклера.

Но имъ, великодѣльно выдрессированнымъ умственной гимнастикой, закованнымъ въ непроницаемую броню партійныхъ схемъ и партійной логики, не достаетъ обычно глубокаго практическаго смысла. Думая перехитрить своего врага, неожиданно застать его врасплохъ и вырвать такимъ образомъ желанную побѣду, они и не замѣчаютъ, что всѣ ихъ хитрости давно раскрыты, что врагъ, давно постигнувъ ихъ маневры, не боится ихъ, идетъ имъ самимъ навстрѣчу, создаетъ иллюзіи побѣда, не отбиваетъ лавръ ораторскихъ успѣховъ и ловко эскамотируетъ въ свою пользу перлы вражеской критики, когда утратившей блескъ, но сохранившей дѣловитость буржуазіи, становится невмоготу полуфеодальная опека центрального правительства.

Напрасны вопли и протесты разочаровавшагося пролетаріата, противъ него немедленно двигаютъ цѣлый арсеналъ партійныхъ средствъ, его оглу-

шаютъ рѣчами, опутываютъ программами, ослѣпляютъ непреложными выкладками и расчетами; онъ долженъ смириться предъ неумолимыми параграфами тѣхъ общеобязательныхъ кодексовъ, въ которые запротоколированы всѣ средства борьбы, возможныя съ точки зрења интеллигентной кучки—партии, застѣдающей во главѣ. Къ этой группѣ принадлежать всѣ фракціи парламентскихъ социалистовъ.

Вторая категорія людей гораздо менѣе многочисленна, но ей принадлежитъ будущее.

Если мы будемъ разсматривать исторію человѣческаго общества, какъ процессъ развитія личнаго творческаго начала, мы сдѣлаемъ одно цѣнное и бесспорное наблюденіе: чѣмъ болѣе приближаемся мы къ нашему времени, тѣмъ большія массы людей являются предъ нами въ роли сознательного творческаго агента. Въ той, прежде косной, средѣ, где вожди и герои имѣли дѣло съ мертвымъ матеріаломъ, изъ котораго по произволу или по вдохновенію могли лѣпить свои соціальные или политические идеалы, пробуждается сознаніе необходимости взять свое дѣло въ свои руки, сбросить съ себя всякую опеку ровно благожелательныхъ и неблагожелательныхъ элементовъ.

„Освобожденіе рабочихъ должно быть дѣломъ самихъ рабочихъ“—гласить старый завѣтъ интернационала.

Только тотъ, кто самъ живетъ непосредственно въ извѣстной средѣ, кто страдаетъ ея интересами, кто дѣлить судьбу своихъ товарищѣй по привычкамъ жизни, труду, лишеніямъ и побѣдамъ, только тотъ можетъ открыть истинные, соотвѣтствующіе средѣ и мѣсту, способы борьбы, только тотъ сумѣеть избрать одушевляющіе массу лозунги.

Можетъ ли быть сомнѣніе въ томъ, что человѣкъ, вышедшій и непосредственно изъ рабочей

среды, но вовлеченный въ политику, партійную борьбу, парламентскія сдѣлки, утрачиваетъ живую связь съ избравшимъ его классомъ даже когда защищаетъ его мандаты.

Междуд тѣмъ, бездны таланта, энергіи расточались и расточаются на завоеваніе политической власти, отдаляющей избранниковъ отъ ихъ среды; бездны денегъ бросаются на выборную агитацию и содержаніе избранниковъ, и развѣ мы не видимъ, какъ изо дня въ день соціалистическая идея, изнемогая въ неравной борьбѣ съ буржуазнымъ обществомъ, идетъ на тяжелыя уступки, вступаетъ въ торги и сдѣлки и нерѣдко, по необходимости, поддерживаетъ своихъ принципіальныхъ враговъ, чтобы не дать овладѣть полемъ сраженія еще худшимъ.

Это, наконецъ, увидѣлъ и понялъ современный пролетаріатъ; онъ понялъ, что не быть ему свободнымъ до тѣхъ поръ, пока рабочія массы, просвѣтленная сознаніемъ, организованы, твердыя вѣрой въ свои силы и свою необходимость не возьмутся сами за молотъ, чтобы разбить свои цѣпи.

Онъ начинаетъ понимать, что теперь каждая отдельная человѣческая личность должна сама говорить за себя, заявлять свои собственные требования, упразднить тѣ безчисленные органы, часто ненужные и вредные, которые, какъ ядовитые паразиты, высасываютъ кровь, вытравляютъ жизнь изъ смѣлыхъ бореній личности.

Къ этой категоріи принадлежать всѣ тѣ, кто не идетъ ни на какія примиренія, кто отвергаетъ парламентскія формы борьбы, какъ затемняющая чистоту классового сознанія, кто отвергаетъ всякую чужую помошь, всякую опеку и борется самъ за свое освобожденіе; кто, написавъ на своемъ знамени борьбу и возмездіе, и въ жизни борется и мститъ, кто отвергаетъ реформу и возглашаетъ революцію.

Въ этой категоріи—анархисты, тѣ формы пролетарского движенія, которыя хотятъ самостоятельно, не вѣря болѣе въ парламентъ и „надклассовыя“ или „внѣклассовыя“ партіи, открытыми выступленіями бороться за свое освобожденіе, какъ, напримѣръ, революціонный синдикализмъ.

Въ этой бѣглой характеристикѣ мы ознакомились съ основными типами человѣческой психики, какъ она высказывается въ цѣлениі человѣческихъ страданій.

Психика мира, терпѣнія и психика борьбы, немедленного утвержденія правды.

Первая избрала своимъ орудіемъ—парламентъ, вторая—классовую организацію.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Алексѣй Боровой.

Знакъ.

(Изъ В. Гюго).

Цариль самъ Каинъ въ грозномъ мракѣ,
Іуда тронъ его хранилъ,
И я молилъ судьбу о знакѣ,
Который путь бы мнѣ открылъ.

И данъ былъ знакъ. Свершилось чудо,
Когда на вѣрный путь я сталъ:
— Предатель! крикнулъ мнѣ Іуда,
— Убийца! Каинъ мнѣ сказалъ.

Николай Морозовъ.

Слоненокъ.

1.

Павлушка засѣлъ на второй годъ въ приготовительномъ классѣ.

Только онъ одинъ и былъ второгодникомъ.

Сидѣлъ Павлушка на послѣдней скамейкѣ у шкапчика: у шкапчика всегда второгодники сидѣли.

Мѣсто было не простое, особенное. Всякій день послѣ молитвы, когда учитель Иванъ Ивановичъ запиралъ въ шкапчикъ журналъ, чернильницу и ручку, только съ Павлушкина мѣста можно было заглянуть въ этотъ шкапчикъ. И чего-чего только въ немъ не хранилось: разныя коробочки, ножички, картинки, кораблики, раковинки, стрѣлки...

Такъ водилось: если кто изъ учениковъ приносилъ въ классъ какую-нибудь любопытную вещицу, Иванъ Ивановичъ отбиралъ ее и прямо въ шкапчикъ.

Гимназія была старая, Иванъ Ивановичъ—старый, шкапчикъ—биткомъ набитъ.

Разъ Павлушка слоненка подсмотрѣлъ. Сѣрий слоненокъ, какъ настоящій, съ хоботомъ и клыками, а уши мягкія, большія и хвостикъ.

— Тамъ, пожалуй, и еще кто-нибудь такой сидитъ, какая-нибудь заводная машинка, пистолетъ, обезьянка...

И завертѣло: какъ бы такъ это устроить, чтобы въ шкапчикъ пробраться, потрогать чего, посмотреть и съ собой взять.

Долго ломалъ голову, а придумать ничего не придумалъ,—одному невозможно.

Хорошо, что Доронинъ и Воскресенскій, съ которыми сидѣлъ Павлушка, оказались ему на руку.

Доронинъ — „Трясогузка“, востренкій, розовенький и озорничаль, а виду не показывалъ, все оставалось шито-крыто.

Воскресенскій — „Пугало“, вихрастый и веснушчатый, лѣзъ прямо на рогатину, сухъ изъ воды никогда не выскакиваль.

Прежде всего Павлушка экзаменъ имъ задалъ, удоочку закинулъ.

Повѣрилъ, и всѣ трое, какъ одинъ, сговорились.

Уговоръ лучше денегъ — чуръ! никто никого не выдастъ.

Приходили они спозаранку и приступали.

„Трясогузка“ у дверей караулилъ, Павлушка съ „Пугаломъ“ работали.

Ковыряли замокъ всякимъ предметомъ: и пемомъ, и ручкой, и шпилькой, и гвоздикомъ.

Хоть бы что — дудки!

— Надо стамеской, — сопѣлъ „Пугало“.

— Винти ужъ! — подгонялъ Павлушка.

Ничего.

И бросали, и опять начинали.

Какъ-то шпилька и переломилась. Туда-сюда — пропали! Кусочекъ застѣль въ нутрѣ.

Пришелъ Иванъ Ивановичъ, прочитали молитву, сталъ Иванъ Ивановичъ отпирать шкапчикъ. Туго. И такъ вертѣлъ, и сякъ. Пыхтѣлъ, пыхтѣлъ, насилиу отперъ.

— Кто? — спрашиваетъ.

Молчать.

Никто, какъ Павлушка съ „Пугаломъ“.

Отпирались.

Не вывезло. Хуже.

— Въ карцеръ на два часа.

Засадили въ карцеръ.

Сидѣть. А дума одна: какъ шкапчикъ открыть, чтобы все посмотрѣть, потрогать и съ собой взять.

— Надо подпилкомъ, — рѣшаетъ „Пугало“.

— Подпилкомъ что! — шурупомъ, раздобыть шурупъ, повинтить — и готово дѣло.

2.

На дворѣ октябрь.

Кончается четверть. Скоро станеть Иванъ Ивановичъ баллы выводить. А у Павушки едва тройка выходитъ. Тройка съ минусами.

Падалъ мокрый снѣгъ и, не долетая до мостовой, гдѣ-то у ногъ таялъ.

Таялъ на крышахъ, только на дровахъ дровяного двора лежалъ легкимъ бѣлымъ слоемъ.

Было скользко, ноги не слушались.

Голодный, въ длинной, спитой на ростъ шинели, таша на уцѣлѣвшемъ ремнѣ изодранный ранецъ, плелся Павлушка домой изъ гимназіи.

И почему это онъ не можетъ, не запинаясь, какъ Медвѣдевъ, просчитать цифры? И хитростито тутъ нѣть никакой: веди счетъ сзаду напередъ и только.

— 33, 32, 31, 30...

Вотъ и не сшибся, а тогда ни съ мѣста: сталъ перескакивать, мяться.

— Тупая голова! — сказалъ Иванъ Ивановичъ и поставилъ двойку.

— Тупая голова! — Павлушка снялъ картузъ и потрогалъ себя за голову, — тупая голова... на третій не оставятъ.

— Выгонять.

Павлушка разстегнулся и, запрокинувъ голову, принялъся ловить ртомъ снѣжинки.

Снѣжинки холодныя падали, щекотали горло. Горло сжималось.

Такъ не весело, такъ не весело, — плакать хотѣлось.

И представлялось, какъ его изъ гимназіи выгнать, какъ онъ до дому дойдетъ, какъ придется домой.

— А дальше?

— Дальше воть что,—говорилъ кто-то на ухо:— ты запришь тамъ, нѣ, приоровись, да головой бухъ въ дыру, или застрѣлись ружьемъ.

— А если не выгонять?

— На третій не оставляютъ.

— 33, 32, 31, 30...

— Вотъ, вотъ, здороуо!

Павлушка вошелъ въ домъ.

Дома мыли полъ.

Все было подоткнуто и перевернуто.

Слонялся по столовой, отщипывалъ мякишъ.

И только послѣ обѣда, когда все уложилось и кухарка Маланья—„Аксолотъ“ пошла въ баню, Павлушка присѣлъ къ своему столику, но ранца не разстегнулъ и къ книгамъ не притронулся,— завтра!

Такъ просидѣлъ онъ, пока не стало смеркаться и не ударили ко всенощной.

Уши у него горѣли, какъ на улицѣ, и ничто не занимало, думалось тяжело объ одномъ.

Стеклянный козленокъ изъ-подъ духовъ—любимецъ Павлушкинъ,—какъ повалился, когда передвигали столикъ, такъ и оставался лежать на боку.

— И пускай себѣ лежить, эка!

Лѣнъ было руку протянуть и привести все въ порядокъ.

А Павлушка такой аккуратный. Всякую пылинку сдуешь, соскоблитъ, подчиститъ. Старшая сестра Катя, у которой жилъ Павлушка, звала его Кротикомъ. Кротикъ все соберетъ, ничего такъ валиться не оставитъ.

На этотъ разъ Павлушка не прибралъ столъ Кати.

— Пускай, только бы ружье достать.

3.

Въ церкви за всенощной Павлушка стоялъ сумрачно, букой. Смотрѣлъ въ темный ликъ

Божьей Матери, смотрѣлъ на драгоцѣнныя камни и жемчуга бѣлой ризы.

Разноцвѣтныя лампадки, полныя масла, разноцвѣтно горѣли, и отъ этого свѣта играли камни и жемчуга таяли.

Но душа была въ потѣмкахъ.

Крестился, когда крестились, кланялся, когда надо было кланяться.

И чудился покойническій запахъ.

Пѣніе и молитвы выплывали изъ этого запаха и такъ плавали въ немъ.

Ладанъ не гасилъ, а распускалъ его по всей церкви.

Утромъ за обѣдней отпѣвали жену бондаря. Бондарчиха испортилась. Вотъ и не продохлось.

Впереди стоялъ бондарь въ чуйкѣ и, широко крестясь, бухался въ землю.

Павлушка и раньше слышалъ, что бондарчиха давно хворала, что ее много лѣчили и даромъ— ничего не помогало, а бондарь жаловался на обузу.

— Это онъ и бухается отъ радости, что Богъ ее прибралъ, надоѣла она ему. Думаетъ, померла и крышка, не увидитъ... Нѣ-ѣть! — Павлушка пискнулъ отъ злорадства; онъ зналъ, что бондарчиха тутъ въ церкви стоитъ гдѣ-нибудь въ уголку, все видитъ, все понимаетъ, только ее не видно. Какъ въ шапкѣ-невидимкѣ.

— Надѣть шапку-невидимку, вынуть изъ кармана у Ивана Ивановича ключи, отпереть шапчикъ, вытащить слоненка... двойки переправить на пятерки, а потомъ что-нибудь такое...

Въ алтарѣ поднялась суматоха.

Дьяконъ сиганулъ отъ жертвенника къ престолу, псаломщикъ, читавшій шестопсалміе, остановился.

Въ тишинѣ переглядывались.

Наконецъ, разрѣшилось: изъ алтаря подъ руку вывели священника.

Измученный, съ открытымъ ртомъ ткнулся старикъ заплаканнымъ лицомъ въ темный ликъ:

— Владычица, прости меня! прости меня!

И пошелъ.

Служба продолжалась, псаломщикъ читалъ. Голосъ его звучалъ твердо и опредѣленно. И всѣ, кто былъ въ церкви, теперь знали твердо и опредѣленно, что священникъ не вернется ужъ въ церковь, что онъ умретъ, дорогой ли, дома у себя, все равно умретъ.

— Всѣ умремъ,—говорило что-то,—умремъ, и принесутъ сюда, поставятъ тутъ передъ амвономъ...

И вспомнилось Павлушкѣ, какъ хоронили одного актера. Тоже старика. Въ церкви рассказывали, будто игралъ онъ въ театрѣ и померъ. Смерти не чаялъ, а она пришла. Смыли съ лица краску, положили его въ гробъ, принесли. Церковь была полна актеровъ, бритыхъ и кудыкъ, да актрисъ въ большихъ шляпкахъ. Когда кончилось отпѣваніе, священникъ далъ покойнику рукописаніе, полилъ масломъ, поклонился и пошелъ въ алтарь. А съ паперти ужъ несли крышку бѣлую, глазетовую. Покрыли гробъ крышкой, стали гвозди вбивать... Жутко было. И еще было что-то, какое-то успокоеніе, увѣренность, что заколачиваютъ гвоздями и несутъ на кладбище и тамъ опустятъ въ яму, землей завалятъ не тебя.

— Не тебя! не тебя!

Тутъ всталъ передъ глазами другой случай.

Разъ зашелъ Павлушка въ церковь: тамъ покойникъ былъ. Ужъ прощались. Прощались какъ-то робко, руку не цѣловали. Только смотрѣли на эти огромныя стеклянныя руки. И вотъ женщина старая, горбатая отъ горя, одна цѣловала эти руки, цѣловала лицо, полузакрытное желтой ватой, цѣловала ротъ, изъ котораго темной струей бѣжалла сукровица.

— И меня! и меня!—надрывались эти поцѣлуи единственны... не хотѣли они остановиться, не

хотѣли перестать, не могли оторваться, а имъ былъ конецъ.

— И тебя! и тебя! все равно...

— Принесутъ... Владычица! чтобы меня не приносили, чтобы не умереть мнѣ, Божія Матерь, Царица небесная, сдѣлай Ты... вѣдь я маленький!

Павлушка сталъ на колѣни и, кланяясь до земли, кланялся въ какомъ-то испугѣ и радости.

Играли камни на бѣлой ризѣ, жемчуга таяли, ликъ Матери участливо гладилъ его.

Зналъ онъ твердо, все Она дастъ ему, ни въ чемъ не откажетъ... не будетъ двоекъ, слоненокъ у него будетъ... онъ ни въ чемъ не виноватъ...

— А бондарь виноватъ?

Бондарь, бухаясь въ землю, вытягивалъ ноги. На тяжелыхъ сапогахъ сверкали подковки.

Павлушкѣ захотѣлось подковокъ.

— Ты отними отъ него, дай ихъ мнѣ!—онъ протянулъ руку къ сапогу бондаря попробовать, не отвалились ли подковки, и, пораженный, остановился: справа и слѣва сверкали такія же подковки.

А почему у него нѣтъ подковокъ? почему только одинъ онъ стоитъ маленький, невинный и всѣмъ чужой?

И вдругъ понялъ.

Кругомъ были грѣшные, несчастные, грѣшные, какъ бондарь.

Они молились... Ты ихъ услышши!

Они просили... Имъ будетъ отвѣтъ?

— Мнѣ будетъ, я не виноватъ ни въ чемъ.

И ему до боли стыдно, что онъ не виноватъ ни въ чемъ...

Слава Тебѣ, показавшему намъ свѣтъ!

Павлушка стоялъ, какъ пригвожденный, не засматривалъ въ окно, какъ всегда засматривалъ: не увидѣть ли свѣтъ показавшейся.

Онъ повторялъ одно слово черное, звалъ темное съ подковками съ серебряными.

— Пускай мнѣ двоекъ наставятъ, пускай меня выгонятъ, пускай меня чортъ возьметъ.

Служба кончилась.

Бочкомъ вышелъ Павлушка изъ церкви и побрелъ домой. Шелъ домой оголтѣлый, распахнувшись, несъ не сердце, а комокъ слѣзъ.

Хотѣло сердце быть грѣшнымъ.

Хотѣли слѣзы плакать отъ отчаянія.

Молить... Ты ихъ услышишь!

Просить... Имъ будеть отвѣтъ?

Хотѣлъ, чтобы чортъ сцапалъ его, посадилъ къ себѣ на закорки и пустился бы съ нимъ по бѣлому свѣту. Хотѣлъ, чтобы рука огромная стеклянная схватила его и тутъ бы на мѣстѣ прихлопнула.

Быть бы ему вотъ этимъ отходникомъ, трясущимся на бочекѣ, щѣхать бы, трястись, оборванному и голодному, въ ночь на грязную работу, нюхать этотъ отвратительный запахъ, копаться въ зловонной бурдѣ.

Павлушка стремительно повернулся съ тротуара и пустился за бочкой, стараясь, какъ можно больше, надышаться мерзостью и норовя выпачкаться.

4.

Спинка. Брюшко.

Лягъ. Лягушка.

Дѣтская игрушка.

— Пѣли — выговаривали хоромъ „Трясогузка“ тонко, Павлушка потолще, а „Пугало“ толсто, и при этомъ пальцами выдѣльвали разныя финти-клюшки, заканчивавшіяся дружнымъ кукишемъ.

— Павлушенька,—просунулся въ дверь „Аксолотъ“,—поди-ка сюда, что я тебѣ скажу.

Всѣ повскакали.

— „Мухтаръ“ пришелъ, ворону приволокъ, варить что-ли?

Павлушка погрозилъ пальчикомъ, и на цыпочкахъ всей гурьбой двинулись въ кухню.

Главное, надо было все это отъ Кати скрыть, а то она еще возьметъ, да и выброситъ ворону за окошко. А обѣ воронѣ Павлушка давно умомъ раскидывается: какъ-то попалась ему одна книжка, въ которой всякие звѣри и птицы нарисованы были и рядомъ съ птицами что-то въ родѣ смерти. „И не смерть это,—объясняла Катя,—это скелетъ, а скелетъ можно и самому сдѣлать изъ вороны“. Вотъ съ тѣхъ поръ и засѣла ворона Павлушкѣ въ голову,—коломъ не выбѣшь,—захотѣлось ему непремѣнно скелетъ устроить и чтобы скелетъ у него на столикѣ стоялъ. „Мухтаръ“, лохматый дворникъ въ валенкахъ, и весь какой-то, будто изъ валенокъ сдѣланный, толкался въ кухнѣ, кадя себѣ подъ носъ дохлой вороной.

Обступили „Мухтара“, выхватили изъ рукъ ворону.

Положили ворону на грязную табуретку изъ подъ помойной лоханки, подсучили рукава и усѣлись кружкомъ на корточки.

Трогали ворону пальцами, разматывали кругомъ, расправляли крылья, потомъ за клювъ принялись, раздирали задеревенѣлый клювъ.

— Ворона старая,—сказалъ Павлушка:—ни одного цѣлаго зуба.

— Ворона жретъ десной, у ихъ сестры зуба не водится,—„Аксолотъ“ поставилъ на плиту до верху полный поганый чугунъ.

— Нѣть, водится,—заступился „Пугало“,—вотъ такие въ семь аршиновъ, круглые...

— Круглые!—передразнилъ „Аксолотъ“,—круглый-то зобъ, какъ яйцо.

— Зобъ вонъ, подъ шейкой, тамъ камни хранятся.

„Аксолотъ“ подкладывалъ дровъ въ печку. Вода нагрѣвалась.

А ворону щипали. Перья складывали въ кучку.

Тряслись надъ каждой пушинкой, чтобы потомъ изъ воронъяго пуху „Аксолоту“ перину сдѣлать. А какъ ощипали, зажгли лучинку и стали лучинкой палить ворону, чтобы всѣ пёнушки вывести.

Вывели пёнушки, принялись потрошить.

Отломаннымъ перочиннымъ ножикомъ взрѣзали зобъ. Искали камней, но камней не было, а была какая-то вонючая и липкая труха.

Перемазались.

Не отрубая головы, положили ворону въ чугунъ. Закипѣла ворона.

И пошелъ по всѣмъ комнатамъ такой смрадъ, хоть изъ дома бѣги.

Прибѣжала Катя, разсердилаась, ворону велѣла въ сѣни вынести, а дѣтей прогнала изъ кухни.

Вотъ те и ворона!

Дѣти потащили за собой „Мухтара“. „Мухтаръ“ былъ выпимши, а когда онъ выпимши, съ нимъ весело.

— Мухтаръ, а Мухтаръ, покажи, какъ ты... это дѣлаешь?—щипали и подпихивали, напихивая на дворника вертлявую „Трясогузку“.

— Не-зя, не-зя,—отбрыкивался „Мухтаръ“.

— Да не умѣешь! да не умѣешь! да не умѣешь!—дразнили, поддразнивали дворника, пока того не прорвало.

„Мухтаръ“ облапилъ „Трясогузку“.

А „Трясогузка“ даль подъ-ножку, вывернулся и былъ таковъ. Полетѣлъ „Мухтаръ“ къ чорту на кулички—на полъ грохнулся.

И ползя по полу, хорохорясь, представляль онъ и выдѣльвалъ разныя несуразности.

Грохотали отъ удовольствія, покатывались со смѣху.

— Ну, теперь спой, Мухтаръ, спой намъ, пожалуйста!

И поднявшійся на ноги, разморенный, начиналь „Мухтаръ“ пѣсню пѣть такимъ же, какъ весь валленный, валеннымъ голосомъ:

Что же ты Матрена
Къ лѣсу не пришла,
Али ты, дурёна,
Другого нашла...

И останавливался:

— А дальше не-зя.
— Не-зя! не-зя! не-зя!

Просунулся „Аксолотъ“, позвалъ „Мухтара“: его въ сторожкѣ спрашиваютъ.

„Мухтаръ“ ругался. Дразнились вдогонку.

Чего бы это еще выкинуть? сидѣть такъ, сложа руки,—скучно. Раздумывали.

Павлушка подговаривать на чердакъ лѣзть, да дѣло не выгорѣло: поймаютъ, избьютъ, какъ жуликовъ.

Выдумали игру.

Пересчитались, кому водить, и начали.

„Трясогузка“ и Павлушка хлестали ремнями вскарабкавшагося на стулъ „Пугалу“, а „Пугало“ отхлестывался.

Вся игра въ томъ только и заключалась, чтобы отхлестываться.

Сначала все шло мирно, хлестались по-нарочну, потомъ перешли и по-заправду, наровя двинуть пряжкой.

Павлушка хватилъ „Пугалу“ по мордамъ. „Пугало“ не удержался и кувырнулся со стула. Кувырнулся, ударился,—заплакалъ.

Задрало.

— Нюня! Нюня! Нюня!

— Пугало! Пугало! Пугало!

— Самъ Пугало! второгодникъ!

— А твой отецъ—пропоица, сосудъ за обѣдней урониль.

— Пропоица! Пропоица! Пропоица!

„Пугало“ плакалъ.

И чѣмъ бы все это кончилось, одному Богу известно, да за „Трясогузкой“ горничная пришла домой уводить.

Поднялся-было и „Пугало“, да опять съль.
Увели „Трясогузку“.
„Пугало“ съ Павлушки одни остались.
И стало вдругъ Павлушки стыдно, что обидѣль
онъ „Пугалу“.
— Пугало, поди сюда!— позвалъ онъ робко.
„Пугало“ всхлипывалъ.
— Поди сюда, говорю, слышишь?
Молчалъ.
— Давай, Пугало, слоненка унесемъ!— тронулъ
„Пугалу“.
— Давай.
— А какъ же мы его унесемъ.
— Стамеской.
— Стамеской не выйдетъ, долотомъ лучше.
— Долотомъ.
— А когда мы его унесемъ?
— Завтра.
— И никому не скажемъ?
— А ты дразниться не будешь?
— Я тебѣ, Пугало, козленка отдамъ, хочешь?
— Хочу.
Павлушка отыскаль тряпочку, бережно заку-
таль въ нее стекляннаго козленка, чтобы козлен-
ку холодно не было, и подаль „Пугалѣ“.
— Вотъ тебѣ.
„Пугало“ всталъ, вихры торчали и щеки горѣли.
— Павлушки, ты... папашу... въ заптатъ выгна-
ли... благочинный. Теперь, Павлушки, съ голоду
помремъ.

5.

Утромъ, на слѣдующій день, Павлушки въ гим-
назию не пошелъ. Надѣль ужъ ранецъ, и подко-
сило.

Поставили Павлушки градусникъ. Жаръ.
Укладывали въ постель. Заастачился, не хотѣ-
лось ложиться.

Пошелъ ходить по комнатамъ.
Въ окно смотрѣль.
За окномъ падаль мокрый снѣгъ и, не долетая
до мостовой, таялъ.
Таялъ на крышахъ, только на дровахъ у сарай
лежалъ легкимъ слоемъ.
И такъ тянулось время, такъ не весело.
Такъ не весело, плакать хотѣлось.
Столикъ стоялъ сиротливо,— козленка не было.
Жалко стало козленка. Зачѣмъ его отдалъ? Те-
перь у него нѣтъ ничего. И у „Пугалы“ нѣтъ ни-
чего... Съ голоду помреть. И козленокъ и „Пу-
гало“.
— А слоненокъ?
Закрылъ глаза, сталь на пальцахъ гадать: при-
несеть „Пугало“ слоненка или нѣтъ?
— Нѣтъ.—Нѣтъ.—Нѣтъ.
А ну какъ слоненка никогда и не было въ
шкапчикѣ, а такъ онъ его выдумалъ? И откуда
взяться слоненку въ шкапчикѣ?
А если слоненокъ и на самомъ дѣлѣ сидить
тамъ, то дастся ли онъ взять себя? Пойдетъ ли
къ нему? Не всѣмъ онъдается, не ко всякому
идетъ. Къ „Пугалѣ“ пойдетъ, а къ нему?
Закрылъ глаза, завергъль пальцами.
— Да.—Да.—Да.
Въ комнату Кати вошелъ настройщикъ, сталь
піанино настраивать.
— Сѣрий слоненокъ, сѣрая мордочка.
Павлушки легъ на кровать прилечь.
— Сѣрий слоненокъ, сѣрая мордочка.
И представилось Павлушки, будто какой-то ма-
ленький звѣрокъ выскочилъ изъ часовъ, подползъ
къ нему, понюхалъ и забѣгалъ по комнатѣ.
Бѣгасть звѣрокъ на одной ножкѣ, выпускаетъ
паутину, путаетъ, приплѣсываетъ.
Хочеть Павлушки встать, поймать звѣрка, и
не можетъ.

Не можетъ ни голову поднять, ни рукой тронуть.
Бѣгаеть звѣрокъ на одной ножкѣ, паутиной
путаетъ, приплясываетъ, губой причмокиваетъ:

Чокъ-чокъ! пятакъ,
Побѣжала въ кабачокъ.

Спуталъ ноги, спуталъ руки, путаетъ тѣло.
Сердце путаетъ.

— Слоненокъ, миленький, не трогай меня!—
плачеть Павлушка.

Но слоненокъ не слушаетъ, ему и горя мало,
все шибче, все шибче бѣгаеть, приплясываетъ,
губой причмокиваетъ:

Напоили ее пьяну,
Уложили ее въ яму.

И вдругъ для Павушки понятнымъ становится,
что не слоненокъ это, а чортъ.

Павлушка раскрылъ глаза испуганные, измученные.

Настройщикъ настраивалъ піанино.

6.

Корь.

Третій день, какъ она началась, и теперь жарила во всю.

Въ первый же вечеръ забѣгалъ „Пугало“, принесъ Павлушки заячью лапку.

Лапку положили къ Павлушки подъ подушку, а „Пугало“ прогнали. Заразится.

Всѣ эти дни пичкали Павлушки противной кастрюкой.

„Аксолотъ“ давилъ капсюлю и, размазавъ кастрюку на кусочекъ черстваго хлѣба, подчи валъ.

Отъ одного воспоминанія у Павушки въ глазахъ мутилось.

Слава Богу, теперь не надо.

Пришелъ докторъ, посмотрѣль языкъ, пульсъ щупалъ.

Павлушка не долженъ чесаться, а то хуже будетъ.

Павлушка почесывался. Притворялся, что спить, и почесывался.

Вотъ вышелъ „Аксолотъ“ въ кухню, притворилъ за собой дверь плотно.

И когда совсѣмъ затихло, Павлушка соскочилъ съ кровати и, ступая босыми ногами по холодному полу, дрожа всѣмъ тѣломъ, пробрался къ зеркалу, глянулъ на себя. Зажмурился. И снова съ болью впился тяжелыми глазами на свое не похожее лицо.

Не было мѣста не покрытаго краснымъ лоснящимся пятномъ, сплывающимся съ другимъ такимъ же краснымъ и лоснымъ и съ третьимъ, вездѣ: на лбу, въ волосахъ, на носу, на груди и ниже къ пупку.

Ощерилъ Павлушки зубы не блестящіе и бѣлые, а мутные теперь, мутно-зеленоватые. Хотѣлъ языкъ совочкомъ состроить,—языкъ тяжелый, не поворачивался.

Шепталъ нестерпимо чешущимися губами и гри- масничалъ.

Не узнавалъ себя.

И вдругъ острая мысль, что это не онъ, что онъ умираетъ, умретъ, ударило его, и, шатаясь, отчаянный, онъ подползъ къ кровати, надернувшись на себя одѣяло и, въ страшномъ холѣ и тоскѣ недѣтской, весь скорчился.

И ему казалось, что онъ большой, не только большой, а старый, какъ старикъ священникъ.

— Владычица, прости меня! прости меня!

Комната наполнялась ходомъ часовъ, слышалъ, какъ они ходили на высокихъ ногахъ въ валенкахъ, ходили по комнатѣ вокругъ него, шлепали:

— И тебя! и тебя! не уйдешь!

Павлушка нашупалъ подъ подушкой заячью лапку, ухватился за нее, какъ за соломинку, но не поддалась лапка, выюркнула изъ рукъ. Стала

она подъ одѣяломъ прыгать, проскочила за воротъ подъ сорочку, выпустила когти, зацарапалась.

— Лапка! лапочка! — стональ Павлушка.

Но удержу не было.

Все пришло, все сошлось, чтобы мучить Павлушку.

Прилетѣла ворона ощипанная, пустая, безъ внутренностей, усѣлась синяя надъ головой, разинула клювъ... вышелъ слоненокъ изъ шкатулки, выгнулъ хоботъ, поймалъ за ногу и потянулъ Павлушку съ кровати на полъ... на полу дѣяконъ ползалъ — отецъ „Пугалы“ — растерзанный, что-то красное-красное собирая въ горсть, чмокалъ пьяной губой, и посыпались сверху съ потолка ножички, стрѣлки, машинки, коробочки, картинки, кораблики, раковинки, бальники, двойки... стрѣляли, давили, рѣзали... крышками защемляли пальцы, царапались...

Не видѣлъ ничего, не слышалъ, летѣлъ куда-то въ пропасть, летѣлъ на закоркахъ у черта, летѣлъ не по бѣлому свѣту, а по чертову полю.

Чортово поле.

Павлушка идеть вмѣстѣ съ Катей по огромной, широкой каменной площади. Схватились они за руки, торопятся. И жутко и страшно имъ, и куда идутъ,—сами не знаютъ. Знаютъ, пришелъ конецъ міра. И нѣтъ имъ спасенія.

Знаютъ,—кто-то, какой-то старикъ слѣпой и гадкий стережетъ ихъ. Онъ стережетъ ихъ, поймаетъ. И нѣтъ имъ спасенія.

И чувствуетъ Павлушка, что старикъ тутъ, блѣдный, изможденный, съ зеленоватой бородой, какъ бондарь. Старикъ вспрыгнулъ на тумбу, вотъ бросится. И нѣтъ имъ спасенія.

Хватаетъ Павлушка тяжелый ломъ, бѣть старика, бѣть по лысинѣ, по лысинѣ. Бѣть и чувствуетъ, что силь ужъ нѣтъ больше, нѣтъ силь

еще разъ поднять ломъ. А старикъ поднимается съ тумбы...

Слава Тебѣ, показавшему намъ свѣтъ!

7.

Много недѣль провалялся Павлушка.

Вытянулся, глаза потемнѣли, и все будто вновѣ.

Слушать каждое слово, каждому слову радовался и предмету.

Потомъ скучища напала смертная. Никого къ нему не пускали, а самому не позволяли выходить.

Ушла осень, пришла зима.

Все бѣлое, бѣлое, снѣгъ хрустить.

Выбѣжать бы на улицу, да въ снѣжки.

Играли другіе.

Да что толку въ окно смотрѣть, какъ играютъ другіе!

И вотъ, наконецъ, на Катины именины въ первый разъ Павлушка на волю вышелъ.

Появились „Трясогузка“ и „Пугало“.

Подъ орѣхъ раздѣливали, чего-чего только не выкидывали.

Будетъ! Прогнали въ комнаты.

И весело же было, какъ никогда.

Пили вино красное, ъли мороженое. Отмочили колѣнце. Павлушка вымазалъ себѣ носъ табакомъ.

— Сыть, пьянъ и носъ въ табакѣ!

Вымазались „Трясогузка“ съ „Пугалой“, вымазали „Мухтара“ и „Аксолота“.

Передрались, перецарапались, а кончили миромъ. Слоненокъ все равно ихній будетъ.

„Мухтаръ“ досталъ плоскогубцы, а плоскогубцами все можно.

Завтра пойдетъ Павлушка въ гимназію.

Завтра же они отопрутъ шкатулку, вынутъ слоненка. Запрягутъ слоненка въ санки, и помчится слоненокъ по улицамъ мимо гимназіи въ поле.

— Мы будемъ кричать и пѣть!
— Ничего не будемъ бояться!
— Нацѣпимъ на мордочку красную ленточку!
— Порвемъ книжки и бальники!
— На край свѣта поѣдемъ!
— И гимназію къ чорту!

Алексѣй Ремизовъ.

* * *

Открыть окно. Какая хмурая
Столица въ октябрѣ!
Забитая лошадка бурая
Гуляетъ на дворѣ.

Снѣжинка легкою пушинкою
Порхаетъ на вѣтру,
И елка слабенькой вершинкою
Мотаетъ на юру.

Жилое легко, жилое и молодо,—
Прошла моя пора.
Вонь—мальчикъ, посинѣвъ отъ холода,
Дрожитъ среди двора.

Все, все по старому, бывалому,
И будетъ, какъ всегда:
Лошадкѣ и мальчишкѣ малому
Не сладки холода.

Да и меня безъ всякихъ поводовъ
Загнали на чердакъ.
Никто моихъ не слушалъ доводовъ,
И вышелъ мой табакъ.

А все хочу свободной волею
Свободнаго житья.
Хоть нѣть звѣзды счастливой болѣе
Съ тѣхъ поръ, какъ запилъ я.

Давно звѣзда въ стаканѣ мой канула,—
Ужели навсегда?

И вотъ душа опять воспрянула:
Со мной—моя звѣзда!

Вотъ, вотъ—въ глазахъ плыветъ, манящая,
Качается въ окнѣ...
И жизнь настанетъ настоящая,
И крылья будутъ мнѣ!

И даже все свое имущество
Съ собою захвачу!
Позналъ, позналъ свое могущество!..
Вотъ вскрикнулъ... и лечу!..

Лечу, лечу къ мальчишкѣ малому
Средь вихря и огня...
Все, все—по старому, бывалому,
Да только—безъ меня!

Александр Блокъ.

Послѣдній день.

Раннимъ утромъ, когда люди не хотѣли шевелиться,
Сѣрый сонъ предчувствуя послѣднихъ дней зимы,
Пробудились въ комнатѣ мужчина и блудница,
Медленно очнулись въ угарѣ мглы и тьмы.

Утро копошилось. Безнадежно догорѣли свѣчи.
Оплывшій огарокъ мелькалъ въ оплывшихъ гла-
захъ.

Сквозь холодное стекло дрожали женскія плечи.
Мужчина передъ зеркаломъ расчесывалъ проборъ
въ волосахъ.

Она была въ рубашкѣ. Утро не обмануло.
И была она сегодня, какъ смерть, блѣдна.

Еще вечеромъ у фонаря ея лицо блеснуло,
Въ этой самой комнатѣ была влюблена.

А сегодня безобразно повисли складки рубашки,
И на линіяхъ тѣла былъ сѣрый налетъ.
Углами торчала мебель. Валились окурки, бу-
мажки.
Всѣхъ ужаснѣй въ комнатѣ былъ красный комодъ.

И внезапно—быстроѣ выюги, ярче пожара,
Будто лучъ высокій разбилъ упорный ледъ:
Выпрямилась женщина, свободна отъ угара,
И въ окнѣ подъ обнаженной рукой зазияль про-
летъ.

Влетѣли звуки. Верба, раздувшая почки,
Раскачнулась подъ вѣтромъ, осыпая снѣгъ.
Въ церкви ударили колоколь. Распахнулись фор-
точки,
И внизу сталь слышенъ торопливый бѣгъ.

Люди суетливо выбѣгали за ворота
(Улицу скрывалъ дощатый заборъ).
Мальчишки, женщины, дворники—замѣтили что-то,
Махали руками, чертя незнакомый узоръ.

Бился колоколь. Гудѣли крики, лай и ржанье.
Тамъ—на грязной улицѣ, гдѣ люди собирались,
Женщина, блудница—отъ ложа пьяного желанья,
На колѣняхъ, въ рубашкѣ—поднимала руки ввысь.

Высоко надъ домами, въ туманѣ снѣжной бури,
На мѣстѣ полуденныхъ тучъ и полунощныхъ
звѣздъ,
Розовымъ зигзагомъ въ разверстой лазури
Тонкая рука распластала тонкій крестъ.

Александров Блокъ.

Духоборы въ Канадѣ.

I. ДУХОБОРЫ.

Русскіе въ канадской англійской тюрьмѣ.

Четвертый день нашъ поѣздъ—Canadian Pacific R. R.—несется среди безконечной снѣжной пустыни. Первые дни отъ станціи Ванкуверъ (портъ Великаго океана) горы въ снѣгу. И поѣздъ несетъ то въ тоннеляхъ, проложенныхъ въ горахъ, то въ тоннеляхъ, проложенныхъ въ снѣгахъ. Для послѣдней цѣли изъ желѣзнодорожныхъ щитовъ сооружены цѣлые коридоры. Всюду снѣгъ, снѣгъ и снѣгъ, какое-то снѣжное безуміе. Послѣдніе два дня равнина. Стада антилопъ и шакаловъ изрѣдка разнообразятъ картину. Жилья не видно. Вонь пронесся косякъ лошадей, испуганный поѣздомъ. Тамъ пасется стадо рогатаго скота, собирая траву, торчащую изъ подъ снѣга. Но безконечная пустыня такъ велика, что эти клочки жизни нисколько не нарушаютъ величія ея. Составъ публики въ вагонѣ, что сѣла въ Ванкуверѣ, разнообразенъ. Семь индусовъ въ своихъ разноцвѣтныхъ чалмахъ, восемь индѣйцевъ (краснокожихъ) въ американскихъ рабочихъ костюмахъ, два китайца съ женами и дѣтьми въ своихъ длинныхъ черныхъ рубахахъ безъ поясовъ, три японца, одѣтыхъ по европейски, и десять бѣлыхъ. Разноязычный говоръ наполнилъ вагонъ. Но болѣе экспансивные индусы своей жестикуляціей и высокими нотами покрыли всѣхъ.

— „Много шума! Довольно!“ И этотъ грубый, какъ и подобаетъ побѣдителю, окрикъ сѣдого англичанина — пассажира на минуту водворяетъ тишину. Къ концу второго дня въ нашемъ вагонѣ осталось только три пассажира: русскій, англи-

чанинъ и норвежецъ. Въ теченіе сутокъ весь поѣздъ имѣеть только нась троихъ пассажировъ.

Наконецъ, кондукторъ прокричалъ „Редхайна“. При этой станціи расположился маленький городокъ, въ немъ находится тюрьма, гдѣ сидятъ семь человѣкъ русскихъ—духоборовъ. До насъ, русскихъ эмигрантовъ, живущихъ въ южной Калифорніи, дошли слухи о грубомъ обращеніи и даже издѣвательствахъ тюремной администраціи надъ нашими соотечественниками. Нужно было это установить. Я отправился въ гостиницу и при помощи телефона спросилъ начальника тюрьмы—могу ли я видѣть духоборовъ и когда?

— Съ восьми часовъ принимаются посѣтители, отвѣтили изъ тюрьмы.

Въ городѣ трамваевъ нѣтъ. Тюрьма находится въ двухъ верстахъ отъ станціи.

— Пойдемъ пѣшкомъ,—рѣшилъ я. Холодъ былъ свыше 45° F. Послѣ южной Калифорніи, гдѣ, десять дней назадъ, мнѣ пришлось рвать апельсины и лимоны—быть сборъ урожая,—холодъ Канады показался невѣроятнымъ... Казалось, самыя мысли замерзли въ мозгу. Наконецъ, я достигъ тюрьмы. Вхожу. Встрѣчаетъ надзиратель.

— Я хочу видѣть Духоборовъ,—заявляю ему.

— Сейчасъ придетъ начальникъ и разрѣшилъ. Я самъ не могу.

Редхайнская тюрьма—двухъ-этажное каменное зданіе. Въ эту тюрьму можетъ помѣститься лишь до 50 „клиентовъ“, но никогда такого числа ихъ не бываетъ. Сюда заключаютъ на срокъ не свыше двухъ лѣтъ. Вся администрація тюрьмы состоитъ изъ 12 надзирателей и тринадцати начальниковъ. На доскѣ въ приемной написаны фамиліи клиентовъ. Между ними я прочелъ:

Wasyl Strolieff

Василій Стрѣляевъ.

Wasyl Razenzoff

Василій Рязанцевъ.

Ivan Novokshonoff

Іванъ Невакшеновъ.

Ivan Parapelof

Іванъ Перепеловъ.

Nicol Kuchteamaroff

Николай Кучмаревъ.

Larion Planidein

Ларіонъ Планидинъ.

Wasyl Tomelin

Василій Томилинъ.

— Какъ ведутъ себя Духоборы? обращаюсь я къ надзирателю.

— Нехорошо,—отвѣчаетъ мнѣ онъ коротко, но съ чувствомъ.

Входитъ начальникъ тюрьмы, жилистый англичанинъ со взглядомъ звѣря, готоваго броситься на первого встрѣчнаго.

— Я хочу видѣть Духоборовъ,—заявляю я опять.

— Я не дамъ свиданья съ Духоборами,—слышится отвѣтъ.

— Почему?

— Этотъ народъ—фанатики. Послѣ свиданья они не будутъ опять принимать пищи.

А,—думаю,—ты этого не любишь. Знаемъ, знаемъ. Значитъ и здѣсь наши соотечественники практикуютъ въ борьбѣ съ тюремнымъ начальствомъ то же рѣшительное средство — голодовку. Положительно, приходится признать это орудіе борьбы нашимъ національнымъ творчествомъ.

— Не думаю, что это будетъ такъ. Голодовка—протестъ противъ тюремнаго режима, а за свиданье они будутъ благодарны—возражаю я. Но „начальникъ“, повидимому, потерялъ голову съ духоборами, и каждый день ждалъ отъ нихъ оригинальныхъ и неожиданныхъ ходовъ, совершенно непонятныхъ для его англо-саксонской головы.

— Да вы вѣдь не знакомы съ ними?—Старается убѣдить меня начальникъ.

— Это совершенно все равно. Я хочу ихъ видѣть. Вы только одинъ можете дать разрѣшеніе на свиданіе?—дѣлаю я ходъ.

— Да, только я одинъ,—съ гордостью отвѣтилъ мнѣ тюремщикъ.

„Въ нашихъ русскихъ тюрьмахъ мы проходимъ десятки инстанцій и то добиваемся свиданій. Съ

тобой однимъ не сладить было бы позоромъ,"—мелькнуло въ моей головѣ.

— Мы въ Россіи и то имѣемъ свиданья въ тюрьмахъ съ заключенными. Но то Россія, а законы вашей страны даютъ мнѣ право видѣть моихъ земляковъ. До нась дошли слухи, что здѣсь въ тюрьмѣ жестоко съ ними обращались, и мнѣ необходимо разспросить кого-нибудь изъ нихъ,—начинаю я опять свои доказательства.

— Черезъ два дня имъ кончается срокъ. Они будутъ освобождены, и тогда говорите съ ними,—отбивается „начальникъ“.

— Позвольте. Я вамъ телеграфировалъ, прося дать разрѣшеніе на свиданіе. Мнѣ отвѣтили изъ тюрьмы, что можно. Я остался. Поѣздъ ушелъ. Я теряю сутки...

Послѣ переговоровъ, продолжавшихся цѣлый часъ, наконецъ, ко мнѣ привели Василія Томилина. Отъ него я узналъ слѣдующее:

— Сидимъ мы здѣсь шесть мѣсяцевъ...

— Черезъ два дня будете свободны,—перебиваю я его. Такъ сказалъ сейчасъ мнѣ начальникъ.

Особенной радости Василій Томилинъ не высказалъ.

— Сколько нась—не знаю,—продолжалъ онъ.—Другъ друга мы мало видимъ. Сидимъ въ одиночномъ заключеніи. За что мы посажены въ тюрьму—мы не знаемъ. Первое время намъ давали въ пищу мясо. Мы не ёли. Просили отъ него фруктовъ и овощей. Онъ намъ не далъ. А мяса мы не ёдимъ вотъ уже 12 годовъ.

— Вы заявляли имъ, что вы вегетаріанцы,—спросилъ я,—и не ёдите мяса давно?

— Какъ же. Онъ не обратилъ вниманія. Мы голодали шесть дней. Насъ кормили кишкой *). Что тамъ было—не знаемъ. Думаемъ, что тамъ

была и водка. Потому такъ думаемъ, что охмѣлѣли послѣ того.

— Нѣтъ, водки вамъ не давали, а просто мясной наваръ такъ дѣйствуетъ на людей, долго не Ѳвшихъ мяса.

— Вотъ мы ему и говорили—дай намъ фруктовъ, потому падали мы не будемъ Ѳсть. Затѣмъ видѣть, что ничего изъ этого не выходитъ—и дать намъ теперь ту пищу, что мы хотѣли.

— Что же теперь вамъ даютъ?

— Утромъ въ 6 часовъ даетъ овсянку. На обѣдъ и ужинъ картофель и еще чего-нибудь. Мы довольны.

— А правда, что васъ мучили? До нась дошли слухи, и вотъ я прїѣхалъ узнать.

— Видишь ли, сказалъ съ таинственнымъ видомъ Василій Томилинъ, мы не хотѣли работать, а онъ насъ принуждалъ...

(Фактовъ я не сообщаю до провѣрки).

— Мы даже тюрьмы не метемъ. Ты нась засадилъ, лишилъ свободы, такъ и убирай за нами. Теперь насъ оставили совершенно въ покое,—закончилъ Василій Томилинъ.

— Кто вы такие, Духоборы?—задаю я вопросъ.

— Мы—„слабодники“. Мы желаемъ жить съ людьми и животными, какъ братья. Поэтому мы и не принуждаемъ животныхъ къ работѣ. Мы ихъ ослобонили, отпустили на слободу **). Всякая животная питается отъ себя. А человѣку дано больше любви и разума, зачѣмъ же ему не пытаться отъ себя, а для своего прокормленія насиливать своихъ низшихъ братьевъ, животныхъ, находящихся въ темнотѣ. Человѣкъ долженъ ихъ

**) Канадское правительство собрало выпущенный скотъ, продало и выручило 32,000 рублей. Часть денегъ, 20,000 руб., была возвращена духоборамъ, а часть, 12,000 р., правительство израсходовало при возвращеніи духоборовъ съ похода, когда послѣдніе отыскивали «свободу».

*) Искусственное питаніе зондомъ.

освободить. Потому и лошадь, и коровы—наши сестры. И какъ Богъ далъ намъ разумъ и любовь, то мы и должны помочь низшимъ нашимъ братьямъ.

Послѣ шестимѣсячнаго тюремнаго заключенія Василій Томилинъ сталъ уставать излагать свое ученье, и я рѣшилъ прекратить свиданье. Наружный видъ этого „апостола свободы“ былъ нездоровы. Онъ весь распухъ. Онъ былъ блѣденъ. Шесть мѣсяцевъ одиночной тюрьмы наложили на него отпечатокъ. Онъ весь обросъ и обрюзгъ. Одѣтъ былъ грязно. Куртка была казенная; правая сторона отъ груди къ спинѣ одного цвѣта матерія, а лѣвая другого. Такова форма.

Мы распрошались. Я ему сказалъ, что ёду по селамъ Духоборіи, и, можетъ быть, заѣду въ его село. Онъ передалъ поклоны. Свиданіе продолжалось около часа.

Послѣ свиданья начальникъ тюрьмы сталъ излагать другую сторону ученья „свободниковъ“. Они лѣнти. Они не хотятъ работать. Они грязны. Они не хотятъ даже камеры свои подмѣсть. Они какіе-то фанатики. Они не желаютъ работать ни плугомъ, ни косилкой, ни вообще машинами. Они даже сожгли одну жатвенную машину общини духоборческой, за что и попали въ тюрьму. Они не ёдятъ мяса и, главное, не подчиняются тюремному режиму: фанатики, однимъ словомъ.

Невольно приходится сопоставить этихъ представителей двухъ народностей и двухъ культуры.

Начальникъ тюрьмы—выхоленный англо-саксъ. Для него все ясно. Никакихъ сомнѣній ни въ области внутренней, ни во внѣшней у него нѣтъ. Современная цивилизациѣ уже отвѣтила на всѣ его запросы. А главное, дала ему возможность нагулять тѣло, выхолить, одѣтъ его чисто и красиво. Откуда все это—ему нѣтъ дѣла. Поэтому онъ и не шатается по тѣмъ тропин-

камъ жизни, которыя ведутъ къ сомнѣніямъ, будятъ человѣческую мысль, ломаютъ прежніе устои жизни отдѣльныхъ личностей, а зачастую и цѣлыхъ народностей, и тѣмъ или инымъ путемъ создаютъ новыя формы жизни. Этотъ англо-саксъ проводитъ въ жизнь готовыя формы. Сомнѣній у него быть не можетъ, и потому онъ проводитъ эти формы тюрьмой, насилемъ...

Представитель міросозерцанія „римскаго права“, онъ не можетъ снизойти и понять психологіи народовъ „обычнаго права“ и вообще другихъ формъ жизни. Для него все это будетъ только фанатизмъ, глупость, звѣрство и непониманіе...

И, съ другой стороны, русскій крестьянинъ, темный человѣкъ въ современныхъ наукахъ, но чувствующій всѣми фибрами своего бытія „неправду жизни“. И онъ рѣшаетъ освободиться отъ всякой неправды жизни. Неправда жизни прежде всего и тяжелѣ всего давить его, земледѣльца, безконечной тяготой земли. Онъ ищетъ путь дорогу къ свободѣ. Накопленная вѣками энергія не знаетъ удержанія, и онъ рѣшительно и смѣло идетъ прямо къ цѣли. Въ поискахъ онъ не щадить ни себя, ни удобствъ. Заповѣдь „не убий“ давно уже стала достояніемъ людей. Онъ идетъ дальше. Онъ не убиваетъ животныхъ, какъ части творчества природы. Онъ вегетаріанецъ. Онъ не убийца животныхъ. Но они работаютъ на него. Работа по принужденію тяжела и мучительна. Онъ знаетъ это. Испыталъ самъ. Итакъ, онъ является мучителемъ животныхъ. Еще одно усилие духа... И онъ даетъ свободу животнымъ. Онъ перестаетъ возить, пахать лошадьми, быками... Онъ за 40 миль везеть на себѣ телѣгу, нагруженную зерномъ, для ссыпки въ элеваторъ, чтобы потомъ купить муки. Онъ даетъ свободу всему скоту, и за околицей села со слезами разстается съ нимъ и благодаритъ за всю его работу на себя.

И такъ, вокругъ него свобода! Онъ свободенъ, свободны и его меньшіе братья—животные. Но люди, его ближайшіе братья, мучатся въ копяхъ, рудникахъ, лишенные дневного свѣта, и роются тамъ, какъ кроты. А онъ „свободникъ“ и стремится освободить все живущее на землѣ. Рудники полны людьми для его же пользы, для пользы и удобствъ „свободника“. Они достають тамъ уголь, желѣзо и прочіе металлы. Онъ перестаетъ носить металлическія пуговицы и, наконецъ, бросаетъ плугъ. Онъ отказывается отъ хозяйства. Онъ не желаетъ участвовать въ преступлениі. Онъ странникъ. Онъ питается тремя чайными чашками пшеничного зерна и двумя-тремя сырыми картофелинами въ теченіе дня. Но жена, дѣти, семья? А онъ рѣшилъ добиться свободы полной. Еще одно усиленіе духа... Онъ чувствуетъ, что онъ не свободенъ отъ самого себя. Отъ страстей животныхъ. Отъ желаній пола. И вотъ, не останавливаясь предъ самыми интимными узами мужа и жены... онъ отпускаетъ свою жену. Онъ разрѣшаетъ ей зачать ребенка отъ того, кого сама она пожелаетъ, дабы не прекратился родъ людей.

Самъ бросаетъ всякия чувственныя желанія и отказывается имѣть жену. Но правды жизни, того спокойствія духа, къ которому стремится онъ,—онъ еще не знаетъ.

Многое онъ поднялъ, но онъ рѣшилъ взять все. Онъ желаетъ земного рая.

Небесный рай—удѣлъ земныхъ рабовъ. Онъ знаетъ это.

Онъ слышалъ: Адамъ, Ева, рай...

Онъ сбрасываетъ одежду. Тѣло, вѣдь, „храмъ Божій“.

И зачѣмъ ему скрывать его?!

Онъ обнаженъ.

Онъ не стрижетъ своихъ волосъ.

Онъ не желаетъ уродовать „храма Божія“—тѣла человѣка...

Онъ достигъ рая на землѣ.

Съ ясными лицами, съ улыбкой на устахъ, съ пѣніемъ „оружіе долой“ (Пѣсня свободы) *), „сво-

* Пѣсня свободы.

(Мирная марсельеза).

1. Впередъ, товарищи, ступайте,
День славный наступиль для васъ.
Оружье вдребезги ломайте.
Убійць не будетъ среди наасъ.
Впередъ идите, всѣ народы
Давно васъ ждуть на братскій пиръ,
И пусть подъ знаменемъ свободы
Для всѣхъ настанетъ вѣчный миръ.

Хоръ: Оружіе долой! Солдаты по домамъ!
Впередъ, впередъ! И пусть весь міръ отчизной будетъ намъ!

2. Зачѣмъ эти ружья и пики?
Не надо птиковъ и мечей,
Кровавыхъ разбоевъ улики,
Наслѣдіе злыkhъ палачей.
Нѣть, нѣть, не подымутся руки,
Мы братскую кровь не прольемъ,
Довольно насилия и муки,
Мы пѣсню свободѣ поемъ:

Хоръ: Оружіе долой! Солдаты по домамъ!
Впередъ, впередъ! И пусть весь міръ отчизной будетъ намъ!

3. Долой всѣ границы, заставы,
Для братьевъ весь міръ—общій домъ.
И власти долой и державы...
Мы пѣсню свободѣ поемъ.
Всѣ крѣпости, тюрьмы разрушимъ,
Оковы родимой страны,
И факелы злобы затушимъ
Дыханіемъ мирныхъ веснъ.

Хоръ: Оружіе долой! Солдаты по домамъ!
Впередъ, впередъ! И пусть весь міръ отчизной будетъ намъ!

4. Весеннее солнце сіяеть.
Ждеть пахаря поле давно,
Оружье изъ рукъ выпадаетъ,
И падаетъ въ землю зерно.
Пусть тучи надъ нами нависли;
Пусть дикіе вихри ревуть;

бодники" идутъ и проповѣдуютъ о наступлениі "царства Божія" на землѣ.

И попадаютъ въ тюрьму, гдѣ мы и находимъ ихъ.

II. ДУХОБОРЫ. ОБЩИНА.

Чтобы попасть въ канадскую Духоборію по линіи Canadian Pacific R. R. съ запада, нужно доѣхать до станціи Rostern.

Междуд станціями Редхайна и Ростернъ, отстоящими другъ отъ друга на 200 миль, тянется сплошная равнина. Скотъ и здѣсь ходитъ по снѣгу въ поискахъ за прошлогодней травой. Стада антилопъ перемѣшались съ домашнимъ скотомъ и пасутся вмѣстѣ. Но вотъ послышался непривычный шумъ, и антилопы понеслись подобно вѣтру, а скотъ остался и спокойно собираетъ кое-гдѣ торчащую траву. Вдали на горизонтѣ виднѣется поселокъ.

— Скажите пожалуйста— обращаюсь къ своему

Намъ зерна могучія мысли
Обильную жатву дадутъ.

Хоръ: Оружіе долой! Солдаты по ломамъ!
Впередъ, впередъ! И пусть весь міръ отчизной будетъ намъ!

5. Сквозь бурю, грозу, непогоду,
Подставивъ открытую грудь,
Идемъ мы за свѣтъ и свободу,
За мирный и радостный трудъ.
Развейся, свободное знамя,
Свободное знамя труда!
Могучее доблести пламя
Не гасни въ сердцахъ никогда!

Хоръ: Оружіе долой! Солдаты по ломамъ!
Впередъ, впередъ! И пусть весь міръ отчизной будетъ намъ!

случайному сосѣду-пассажиру,—какой народъ живеть въ этомъ селенії?

— А это менониты изъ Россіи. Они одни у насъ живутъ селами. Находятъ такъ удобнѣй.

— Вотъ слѣдующая станція расположена среди такого поселка. Тамъ будемъ и обѣдать,—отвѣтилъ мнѣ спутникъ.

— А живутъ богато?—любопытствуя я.

— Лучше всѣхъ живутъ въ округѣ. Наши, галичане, такъ не могутъ. Вотъ на сѣверѣ такъ еще живутъ духоборы. Крѣпкие люди эти духоборы. Мяса не єдятъ, табаку не курятъ, не пьютъ. Бѣдныхъ у нихъ нѣть. Всѣ одинаковы. Хорошо живутъ, однимъ словомъ.

— Такъ мы съ вами земляки, я тоже изъ Украины. А почему галичанамъ не жить вмѣстѣ, какъ духоборы, видя примѣръ?— задаю я вопросъ.

— Э, нашъ народъ до того не привыченъ. У духоборъ и бабы не такія, какъ наши. Наши бабы давно уже перелаялись бы. А духоборки держатся „общины“, какъ „репьяхъ кожуха“. И мужики тянутъ за ними. Я работалъ съ духоборами. Дружный народъ, что и говорить. А какъ стоятъ другъ за друга! Сегодня работаетъ 200—300 человѣкъ вмѣстѣ. Одному боссъ (хозяинъ) отказываетъ—всѣ 200 душъ бросаютъ лопатки и уходятъ. Такъ ихъ и знаютъ. Никто ихъ и нетрогаетъ.

— А работать съ ними трудно?—задаю вопросъ.

— Нѣть, они не надрываютъ надъ работой, и тебя останавливаютъ, если гонишь очень. „Будешь гнать, не выдержишъ, скажутъ тебѣ,—часовъ много впереди. Сегодня черезъ силу будешь работать, завтра, а тамъ и въ больницу. А послѣ больницы какой же ты работникъ?“

Умный народъ.

— Зайдешь къnimъ въ селеніе—накормятъ и на дорогу дадутъ хлѣба,—слышится съсосѣдней скамейки по-украински.

— И вы галичанинъ?—спрашиваю я. Оказывается половина пассажировъ славянскаго племени. Нашелся одинъ духоборъ.

И до самаго Ростерна мы имѣли митингъ на русскомъ языкѣ. Вообще въ этой части Канады русская рѣчь звучить такъ же часто, какъ и англійская. Въ Ростернѣ, маленьkimъ городкѣ при станціи, всѣ говорятъ по-русски: прикащики въ магазинахъ, ссыпщики въ элеваторахъ и вообще торговый людъ.

Духоборы, славяне изъ Австріи и менониты изъ Россіи заставили принять этотъ языкъ и ввели его въ употребленіе. При станціи Ростернъ одинъ духоборъ, вышедши изъ общинны, открылъ заѣзжій дворъ. Теплая конюшня для лошадей, при ней изба, гдѣ и спятъ фермеры, попавшиe за дѣломъ въ городъ. Самъ же Николай Степановичъ Поповъ, хозяинъ двора, живетъ въ другой избѣ. Вотъ въ эту-то избу вечеркомъ и собиралось насть нѣсколько человѣкъ: четыре духобора - общинника изъ ближайшихъ сель и двое уже вышедшихъ изъ общинны и живущихъ на фермахъ своимъ личнымъ хозяйствомъ. Разговоръ, конечно, начался съ событий въ Россіи. Пришло разсказать, какъ русскій народъ добываетъ себѣ свободу, съ одной стороны, и какъ бюрократія употребляетъ всѣ усилия, чтобы не выпустить власти изъ своихъ рукъ, съ другой. И война эта внутри Россіи идетъ уже два года.

— А мы тутъ думаемъ, что послѣ японской войны въ Россіи тихо,—замѣтилъ общинникъ - духоборъ.—И тогда наша душа наболѣлась вдоволь.

— Вотъ пойди ты. На войну мы не ходимъ, признаемъ это за убийство, а все-таки, когда русскихъ японцы били, душа, братецъ ты мой, болѣла, да какъ еще болѣла!—произнесъ хозяинъ нашъ, Николай Семеновичъ Поповъ.

— Что говоритъ! Кровь, братецъ сказывается. Кровь не пустое дѣло,—согласились всѣ.

— Мало того. Когда русскій бралъ верхъ, даже стыдно сознаться, радостно какъ-то было. Вотъ пойди ты, разбери. А на войну не ходимъ. Убийства не признаемъ,—размышиль вслухъ Николай Семеновичъ. Онъ былъ изъ „свободниковъ“. Выгналъ свой скотъ на свободу и участвовалъ въ большомъ походѣ на Виннипегъ, когда полторы тысячи душъ съ женами и дѣтьми, побросавъ хзяйство, деньги и одежду, пошли отыскивать „слабоду“ и теплый климатъ. Николай Семеновичъ былъ поэтъ въ душѣ по-своему. Онъ любилъ анализировать каждый свой внутренний процессъ. На это у него уходило много силъ и остатка оказалось мало, чтобъ нести „суворость“ духоборческой общинны. Онъ вышелъ и вотъ поселился въ Ростернѣ и открылъ кузницу. Но выработанные устои прежней жизни хранитъ. Не пьетъ, не куритъ, не ёстъ мяса. Теперь онъ поглощенъ вопросомъ, какъ прокормить семью: жену и троихъ дѣтей. Вотъ постоянный дворъ и кузница помогаютъ ему сводить бюджетъ.

— Ну, а какъ ты полагаешь, скоро въ Россіи порядокъ установится. Вѣдь нехорошо же другъ дружку убивать! Вѣдь эта война похуже еще японской?—задалъ вопросъ общинникъ.

— Да какъ сказать. До тѣхъ поръ, пока народъ не возьметъ полную свободу, пока не создастъ такого порядка, который нуженъ ему, необходимъ и безъ котораго онъ жить не можетъ,—отвѣтилъ я.

— Ой, долго, значитъ, еще будетъ литься кровь. До „слабоды“ человѣка далеко еще,—замѣтилъ нашъ хозяинъ.—Мы тоже вонь искали „слабоду“, да такъ ни съ чѣмъ и остались.

— Вы взяли ужъ очень далеко. Сразу на высокую гору хотѣли взлѣсть. Однимъ духомъ. Ну, конечно, и сорвались,—замѣтилъ духоборъ - общинникъ. А тамъ, въ Россіи народа нашего много. Тамъ весь нашъ народъ, може и добьются. Не вѣрится только намъ—не тѣмъ путемъ пошли.

— Вотъ видиши, братъ, и мы не тѣмъ путемъ, и тамъ не тѣмъ путемъ,—значить, ты знаешь,—чего-жъ сидишъ? Шель бы, мы бы тогда увидѣли, какой твой будетъ путь,—спокойно отвѣтилъ ему нашъ хозяинъ. Вотъ только нехорошо людей убивать, а „свободу“ искать слѣдуетъ. Помогай имъ Богъ!

— Да и мы тогда домой повернули бы. А здѣсь хоть и можно жить, да все, какъ-то, гостемъ дѣло. Дай Богъ, чтобы успокоилось скорѣе,—замѣтилъ одинъ изъ фермеровъ.

— Вотъ ты спросилъ, каковъ нашъ путь. Мы, общинники,—мы свое дѣло знаемъ,—отвѣтилъ старый общинникъ. Духоборы живутъ общиной, частной собственности у нихъ нѣтъ,—все общее. Лошади, скотъ, земледѣльческія орудія—все принадлежитъ общинѣ. Лошади и коровы стоятъ въ общественныхъ теплыхъ конюшняхъ^{*)}) зимой. Лѣтомъ коровы пасутся въ общемъ стадѣ. Овцы зимой находятся въ общей кошарѣ при каждомъ селеніи.

Лѣтомъ вся волость изъ 13 селъ сгоняетъ овецъ въ одну „отару“, и цѣлое лѣто онѣ ходятъ вмѣстѣ. Куры—въ общественномъ курятникѣ при каждомъ селеніи, и яйца идутъ прежде всего больнымъ, затѣмъ дѣтямъ, а потомъ и всѣмъ. Коровъ доятъ „сестры“ сообща и молоко дѣлятъ стаканами на каждую душу. Причемъ дѣтей принимаютъ, главнымъ образомъ, во вниманіе. Во многихъ селеніяхъ введены и общественные хлѣбопекарни. По очереди, двѣ сестры пекутъ хлѣбы утромъ и

^{*)} Это результатъ движенія «свободниковъ». Послѣ этого движенія духоборская община рѣшила, что работать лошадьми можно. Но слѣдуетъ на нихъ смотрѣть, какъ на товарищѣ по работе: кормить ихъ нужно хорошо и въ дни, когда мороѣтъ свыше 20°, совсѣмъ не выѣзжать, а держать лошадей въ теплыхъ конюшняхъ. Нигдѣ я не видаль такихъ сытыхъ лошадей, какъ у духоборъ. Овса они почти не продаютъ и лошади дѣлять овса, сколько смогутъ, а не мѣрой.

вечеромъ. Всякая общинница приходитъ и береть хлѣба столько, сколько ей нужно для семьи. Картофель и вообще овощи еще съ осени община разноситъ по домамъ въ погреба, чтобы каждому было съ избыткомъ. Каждую весну выбираютъ остатокъ изъ погребовъ и продаютъ. Деньги идутъ въ общую кассу селенія. Хлѣбъ въ зернѣ, что предназначено общиной каждого селенія въ продажу, отправляется зимой или весной, и деньги идутъ въ общую кассу селенія.

Вся Духоборія раздѣляется на волости для собственного своего самоуправленія. Канадское правительство оставило ихъ въ покое. Мы находимся сейчасъ въ волости Prince-Albert. Въ ней 13 селъ. Народонаселенія свыше 1500 душъ. (Точной статистики нѣтъ). Вся волость управляетъ сѣѧзданъ уполномоченныхъ отъ каждого селенія—это и есть волостное собраніе. Оно собирается по мѣрѣ надобности. Уполномоченный избирается всѣмъ наличнымъ населеніемъ на основаніи всеобщаго, равнаго и прямого избрания, конечно, открытаго. Послѣднее время женщины не только участвуютъ въ выборахъ уполномоченныхъ, но и сами могутъ быть уполномоченными. При чѣмъ проводится та идея, чтобы на сѣѧздахъ какъ волостныхъ, такъ и общедухоборческихъ—послѣдніе бывають ежегодно, въ январѣ мѣсяцѣ,—выборныхъ было трое (3) отъ каждого селенія—двое мужчинъ и женщина. Практика жизни показала, что женщина лучше можетъ выяснить интересы „сестеръ“. Всѣ мужчины у духоборовъ именуются „братьями“, а женщины „сестрами“. Вся же Духоборія носить название „Христіанская община всемирного братства“.

Въ каждомъ селеніи законодательный органъ есть собраніе самаго селенія, которое можетъ быть собрано въ теченіи пяти минутъ, чemu я самъ былъ свидѣтелемъ. Уполномоченный и является предсѣдателемъ. Право голоса принадле-

житъ всѣмъ. Нужно сознаться, что женщины, даже среди духоборъ, какъ-то мало питають интереса къ общественнымъ дѣламъ, и я почти не видѣлъ женщинъ среди собранія, куда попалъ.

Женщины среди духоборъ занимаютъ вполнѣ почтенное мѣсто. О неравенствѣ половъ тутъ не можетъ быть и рѣчи. Въ крестьянской и вообще рабочей средѣ, гдѣ женщина несетъ на себѣ вполнѣ половину „тяготы“ семейной—она, конечно, пользуется и полнымъ голосомъ въ семье. Среди духоборъ „сестры“ имѣютъ рѣшающей голосъ въ своихъ женскихъ дѣлахъ.

При закупкѣ одежды, обуви и прочаго для всей общины селенія, „сестра“—уполномоченная єдетъ и выбираетъ вмѣстѣ съ уполномоченнымъ „братьемъ“ то, что скажутъ женщины на собраніи и что собраніемъ будетъ утверждено.

Въ жизни духоборы „братья“ не только не стремятся лишить голоса „сестеръ“ въ общественныхъ дѣлахъ, какъ то мы видѣли недавно въ англійскомъ парламентѣ, но сами ихъ приглашаютъ къ участію въ законодательныхъ съѣздахъ, признавая ихъ чисто-женское влияніе, смягчающее какъ суровость жизни, такъ и рѣшенія съѣзовъ.

Нужно сказать, что самое существованіе „общины“ покоятся на духоборческой женщинѣ. Она, и главнымъ образомъ она является устоемъ самой общины.

Материнскій инстинктъ, занимающій въ психологии женщины такую крупную роль, при общинной формѣ жизни находитъ для себя вполнѣ подходящую обстановку.

Дѣти здѣсь являются не только предметомъ заботы отца, котораго дѣти называютъ уменьшительнымъ именемъ Васи, Вани, и матери, которая именуется „няней“, но и всей общины.

И пріятно наблюдать, какъ старый и малый въ общинѣ заботится о дѣтяхъ. „Наши дѣти“, говорятъ общинники, и это не слова. Молодежь 20—30

лѣтъ уходитъ на работы къ американцамъ каждое лѣто. Тамъ знакомится съ языкомъ, обычаями и нравами. Зимой, по возвращеніи домой, молодежь передаетъ всѣ свои знанія этимъ „нашимъ дѣтямъ“, кромѣ гостинцевъ. О стариахъ и говорить нечего. Тѣ положительно ходятъ за дѣтьми, какъ насѣдки.

— Нашъ дѣтенокъ,—говорить почтенный сѣдой Ваня, лѣтъ подъ 70.

— Какъ нашъ? Вашъ внукъ?

— Да нѣтъ. Нашъ дѣтенокъ. А кто его мать, не все-ль равно. Много ихъ въ нашемъ селеніи и дѣтей и матерей. А дѣтенокъ нашъ, это я знаю.

Дѣти совершенно никого не боятся. Для нихъ всѣ—„Вани“, „Васи“, „Миши“. Духоборческія дѣти производятъ пріятное впечатлѣніе свой общительностью и независимостью.

Духоборы, понимая значеніе женщины и ея заслуги, такъ сказать, въ смыслѣ творчества уставовъ общины, употребляютъ всѣ усилия, чтобы облегчить работу „сестеръ“. Положительно въ каждомъ селеніи имѣется 2—3 споповязалки, и сжатый хлѣбъ изъ-подъ такихъ машинъ выходить и связаннымъ. Это совершенно устраниетъ участіе женщины въ „страдѣ“—самой тяжелой работѣ, выпадающей на долю русской женщины-крестьянки. На такое рѣшеніе духоборческой общины имѣли влияніе, съ одной стороны, условія труда вообще женщины въ Америкѣ, а съ другой—и ея положеніе тамъ.

Въ Канадѣ и Соединенныхъ Штатахъ женщина, вообще, не участвуетъ въ полевыхъ работахъ. Машины, развитіе которыхъ въ Америкѣ достигло огромныхъ размѣровъ, помогаютъ фермеру обойтись безъ женскаго труда.

И женщина все свое время посвящаетъ на содержаніе дѣтей, мужа и дома въ чистотѣ и опрятности. Духоборы, конечно, должны были считаться съ окружающими условіями жизни.

Но устройство общинныхъ хлѣбопекарень, а въ нѣкоторыхъ селахъ и общинныхъ столовыхъ, еще болѣе облегчаетъ тяготу „женской доли“ духоборческихъ сестеръ. Это уже есть творчество самихъ духоборъ, и въ Америкѣ ничего подобного нѣтъ.

Исполнительный органъ каждого селенія—староста. Но слово „староста“ такъ ненавистно духоборамъ по воспоминаніямъ о старостахъ, избиравшихся въ Россіи по приказанію бюрократіи, что они уничтожили и самое слово, замѣнивъ его: „уполномоченный“. Однако, слово „староста“, въ силу долголѣтней привычки, такъ и срываются съ языка духобора. Въ каждомъ селеніи есть еще „уполномоченная“. Она вѣдаетъ чисто женскія дѣла, напримѣръ, смотрить за чистотой при доеніи коровъ, когда сестры доятъ въ общественномъ скотномъ дворѣ. Она слѣдитъ, чтобы были подмыты дойки, послѣ доенія сухо вытерты и пр.

И уполномоченный (староста), и уполномоченная выбираются, какъ сказано раньше, всѣмъ населеніемъ деревни.

Хлѣбъ и вообще все питаніе добывается дома, и общинѣ совершенно не нужно прибѣгать къ помощи города для прокормленія своихъ членовъ. Напротивъ, какъ хлѣбъ въ зернѣ, такъ и овощи она даетъ городу. Но нѣкоторые предметы потребленія, которые она не производить и получаетъ извнѣ, она достаетъ такъ: По выбору общинны всего селенія мужчина и женщина ёдутъ въ городъ и покупаютъ все, что нужно,—платье, кожи для обуви (каждое селеніе имѣеть свою мастерскую для обуви), чай, сахаръ, керосинъ.

Такъ обстоитъ дѣло въ волости Prince-Albert. Въ настоящей же Духоборіи, которая расположена хотя въ той же провинціи Saskatchewan, но находится къ юго-востоку въ 200 миляхъ, и гдѣ живетъ 7,000 духоборъ, тамъ дѣло обстоитъ иначе. Тамъ заведены общественные магазины, и товары

въ такие магазины—они обыкновенно расположены при станціяхъ желѣзныхъ дорогъ—поступаютъ вагонами изъ первыхъ рукъ. Каждое селеніе береть уже изъ такого магазина сколько нужно, конечно, сообразуясь съ своими потребностями, съ одной стороны, и доходностью этого года во всей Духоборіи, съ другой. Такіе магазины находятся на станціи Virgin Canadian Northern R. R., на станціи Yorckton Canadian Pacific R. R. и другихъ мѣстахъ. Обороты этихъ складовъ превышаютъ сотни тысячъ долларовъ.

Итакъ, ядро Духоборіи—это община, но въ послѣднее время, подъ вліяніемъ разныхъ причинъ, начали откалываться отъ общины отдельные личности и переходить на свои фермы, гдѣ и ведутъ хозяйство по образцу американскихъ фермеровъ.

Вотъ, что имѣль въ виду общинникъ, говоря: „мы, общинники, мы дѣлаемъ свое дѣло“.

Антонѣ Щербакѣ.

Три стихотворенія.

I.

Ты взманила къ вешнимъ трелямъ,
Воззывающая вновь
Дни, когда, хмѣленъ апрѣлемъ,
Я ввѣрялъ лѣснымъ свирѣлямъ
Запѣвавшую любовь.

Для моей мечты бездомной
Дверь былого отперта:
Ты склонилась въ нѣгѣ томной,
Взоръ зеленый, голосъ дремный,
Лепестковая уста.

Снова счастья отголоски
Внитны сердцу моему.
Ты, дитя, въ простой прическѣ,
Рѣзво мчишься, гдѣ березки
Внизъ сбѣгають по холму.

Словно льдина раскололась
Отъ весеннаго огня,
Золотится зыбкій волосъ
И звенитъ свирѣльный голосъ,
Призывающій меня.

II.

Островъ Феаковъ.

Н. П. Киселеву.

И тебя на островъ чудный
Теплымъ вѣтромъ занесло.
Путь оконченъ многотрудный:
Съ зыбью, пѣнно-изумрудной
Долго спорило весло.

Высь пронзаютъ пики пиній;
Воздухъ—ясень; день—горячъ.
И летить изъ рукъ рабыни,
Исchezая въ тверди синей,
Золотой, звенящій мячъ.

На прибрежье ежедневно
Роща хохотомъ полна.
Бѣлорукая царевна
Платья моетъ, гдѣ напѣвно
Ропщетъ синяя волна.

Дасть тебѣ съ привѣтомъ мирнымъ
Дѣва сладостную ткань,
Умастивъ елеемъ жирнымъ,
Подъ прикрытиемъ порfirнымъ,
Въ глубинѣ прохладныхъ бань.

Скажетъ, ницъ склонивши взоры:
„Ты омылся и окрѣпъ.
Лира ждетъ тебя и хоры.
Рдѣютъ пурпуромъ амфоры,
Золотится сладкій хлѣбъ.

Небо къ намъ—не безъ участья:
Бога нашего дары—
Только солнце, только счастье,
Только пѣсни сладострастья,
Только пляски и пиры“.

Миновавши скалы мраковъ,
Жажду бури утоля,
Все прошедшее оплакавъ,
Ты наслѣдуешь Феаковъ
Благодатныя поля.

III.

Таютъ тайныя печали
О красѣ твоихъ очей.
Всѣ свирѣли отзывали:
Только будить долѣ молчащей
Гулко льющейся ручей.

Какъ прозрачно, какъ лазурно
Въ звонкой грусти хрусталей!
И небесъ широкихъ урна
Въ золотыя каплетъ чащи.
Синій, тающій елей.

Здѣсь я шель съ тобою, нѣжной,
Гдѣ теперь разоблаченъ
Рай далекій, рай безбрежный.
Кто воздвигъ въ осеннемъ храмѣ
Сводь серебряныхъ колоннъ?

На березахъ бѣлоствольныхъ
Никнутъ листья, не дыша.
И въ лобзаніяхъ безбольныхъ
Овѣвается вѣтрами
Утомленная душа.

Сергій Соловьевъ.

Графинюшка.

Сонѣ 14-ый годъ. Дѣвочка она хорошенккая, высокенькая, но въ ней еще какая-то неловкость, неумѣлость граціозная, зовущая, нераспустившейся дѣвочки - подростка. Капризная, припухленкія губки, въ глазахъ не очень-то покойно и вздернутый немного носикъ. А ножки—струнки звенящія и тонкія, точеныя онѣ, и только отъ колѣнка, бѣлѣя, пѣнясь кружевцами, онѣ полнѣютъ чутъ, полнѣютъ трепетной волной.

Ее богато-тонко одѣваютъ, ее балуютъ часто и ласкаютъ, она графинюшка, и въ домѣ все у нихъ роскошно. Рара—графъ Алексѣй Петровичъ еще почти- что молодой, красивый, статный, но ужъ очень заслуженный. Графиня Софья Николавна, чутъ развѣ только расположена, но такъ же еще все зовуще - женственно мила; она, какъ Сонечка, капризная, немного нервная, припухленкія губки. И Сонечку она ведеть капризно, то слишкомъ разбалуетъ и разнѣжитъ, то вдругъ за эту же разнѣженность, за баловство накажетъ, то

на колѣнахъ у рара она ласкается съ тянушкой, съ шоколадкой, то вдругъ совсѣмъ ей сладкое въ обѣдѣ запретятъ.

При Сонѣ Fräulein, а ходять къ ней француженка и англичанка. Француженка—смѣшивая и добрая швейцарка, за то miss Kiltt обидчива и зла, и часто ходить съ жалобой, съ обидами къ графинѣ. Графиня строго выговариваетъ Сонѣ, когда же Соня раскапризится совсѣмъ—ее наказываютъ въ уголь.

Но Сонечка—графинюшка: и закраснѣвшись вся стыдомъ и гнѣвомъ, она несмѣло, но быстро походкой уходитъ, не спросившись, прочь. Она идетъ къ себѣ, спокойно раскрываетъ книгу и принимается читать; а мысли отрываются,—мысли-то не такъ покойны: не лучше ли вернуться бы назадъ, пока еще никто не видѣлъ, но вѣрная завѣтамъ благородныхъ предковъ, она тихонько, граціозно-тонкимъ пальчикомъ перебираетъ книгу и читаетъ дальше.

„Васть графъ зовутъ къ себѣ... въ ихъ кабинетъ“,—вдругъ открываетъ двери Настя.

„Куда? Зачѣмъ къ себѣ?..“ Забывши ужъ и гнѣвъ, и благородныхъ предковъ, и тонкій граціозный пальчикъ, испуганно краснѣется графинюшка.

Хорошенккая Настя не можетъ же въ самомъ дѣлѣ знать всѣхъ графскихъ дѣлъ, у ней какъ будто лишь скривились улыбкой губы, но тотчасъ же, оправивъ спереди внизу кисейный небольшой передничекъ, она уходитъ дальше по своимъ дѣламъ.

А въ кабинетѣ, у окна, лицомъ къ стеклу, стоять графиня; рара съ газетой у стола; въ углу же за столомъ, у полки съ книгами полулежитъ, раскинувшись, большое, длинное, старинное, развалистое кресло, и Соня помнить кресло это хорошо, она тамъ помнить, гдѣ въ спинѣ есть разорванное мѣсто и гдѣ еще лишь начинаетъ протираться, шелкъ.

Когда она вошла, никто не шевельнулся, и только минуты черезъ двѣ графъ отложилъ газету...

И вспѣнились, бѣлѣя, кружевца и точно первымъ проблескомъ восхода зарозовѣлись, загорѣлись черезъ пѣну нѣжнѣйшей алости лучи, нѣжнѣйшей алости передразсвѣтныя поляны. А Сонечкѣ-графинюшкѣ казалось, что обвилася, бѣтесь, пѣнится кругомъ нея бурливая студеная волна, съ неудержимой силой замиранья влекущая ее кудато въ бездну, въ холодъ, внизъ; она беспомощно впивается, хватается за что-то, чтобы уцѣпиться, чтобы спастись... Но все кругомъ ужъ тихо, опала пѣна, волны улеглись, и лишь тепло восшедшіе горячіе лучи. И долго, спрятавшись въ подушки, она плачетъ, когда же плакать устаетъ, подняться все же невозможно: съ газетой тутъ сидѣть, съ изящнымъ шелковымъ шитьемъ; и только ужъ когда темнѣеть и слышны изъ столовой лакейскіе шаги, она пугливо вскакиваетъ и быстро принимаетъ небрежно-графскую скучающую позу.

„Пойдемъ обѣдать, Соня“.

Но Сонечкѣ еще приходится оставаться на минутку, чтобы оправить волосы, чтобы въ стемнѣвшемъ кабинетѣ никто не увидалъ, что барышнѣ тамъ нужно въ страшной тайнѣ приправить, приколоть, пригладить. Въ столовой весь обѣдъ тягучее молчанье, лишь сдержаный, степенный стукъ посуды, степенная походка Николая. А вечеромъ уроки, въ десятомъ молоко и спать. И странно въ полуутѣмѣ, въ кровати припоминается весь день: miss Kiltt, капризно-раздраженное лицо татаан, тѣ двери кабинета, огромная почтенная газета и спинка кресла, гдѣ начинаетъ протираться шелкъ... припоминается, какъ повернулась съ любопытствомъ отъ окна татаан, когда затихло на мгновеніе и зашуршила лишь, сползая на коверъ, газета, телеграммы, когда... И снова жарко вспыхнуло лицо, забилось у висковъ, блеснули трепетно ро-

синки и вздрогнуло отъ плечъ, къ рукамъ, къ спинѣ, къ колѣнкамъ...

„Пораньше Васть, графинюшка, будить, а то опять уроки не поспѣете?“ Прибравъ бѣлье остановилась Настя. И что-то странное у ней въ глазахъ и закривились губки. А Соня закраснѣлась.

„Зачѣмъ?.. Ну хорошо, пораньше“.

„Я думаю, что лучше ужъ пораньше. Спокойной ночи“.

И ушла, и слышались по коридору шаги ея французскихъ каблуковъ. А Соня знала эти каблуки и Настины сапожки, знала, какъ Настя любить наряжаться, шуршаще-полушелковыя юбки, кисейные переднички, а главное—графинино узорное бѣлье. И Соня стала вспоминать всѣ Настины наряды, ленточки, косынки и Настинъ разговоръ, и странныя ея скривившіяся губки... И уснула.

II.

Сонѣ 14-ый годъ. Дѣвочка она хорошенъкая, высокенькая, но въ ней еще какая-то неловкость, граціозная, зовущая неловкость расцвѣтанья; как-призная, припухленъкія губки, и длинно-темныя рѣсницы прикрыли беспокойный взоръ ея блуждающихъ, неясныхъ, тайныхъ сновъ.

„Вставайте же, вставайте, графинюшка, ужъ 6 часовъ, 7-ой“.

„Ахъ, это, Настя, ты?.. Ну подожди минуточку“.

„Да мнѣ-то все равно вѣдь, а только съ вами, чтобы грѣшокъ какой опять не стался“.

„Сейчасъ“,—тянулась Соня, улыбаясь черезъ сонѣ;—„ты думаешь, опять эта противная miss Kiltt“.

„Вставайте же, вставайте лучше“.

Соня лѣниво-медленно приподнялась, зѣвая, а Настя, тоже медленная, сонная, съ полузакрытыми

глазами, съ небрежно собранными волосами, безъ шелковой своей шуршащей юбки, безъ корсета, приготовляла воду и бѣлье. И Соня вдругъ опомнилась, вся вспыхнула: какъ смѣла эта горничная, деревенская дѣвчонка съ ней такъ свободно говорить, небрежно улыбаться и вспоминать какие-то грѣшки и какъ сама она могла сквозь сонъ ей улыбнуться и что-то тамъ отвѣтить даже про miss Kiltt?

Сонь соскочилъ, и трезвая, обидная дневная злоба заклокотала въ ней, она хотѣла тотчасъ вновь укрыться и уснуть, чтобы не смѣла эта дрянь къ ней даже подойти, но снова вспомнился вчерашній день, англійскіе разсказы, переводъ, и Соня вяло, черезъ силу приподнялась еще. Графинюшка спустила ножки, надменная и строгая, и строго горничной замѣтила, что туфли надо ставить ближе, что воду надо больше согрѣвать, и что она рѣшительно не научилась до сихъ поръ ей одѣвать, пристегивать и расправлять, и такъ противно, холодно ей обтираетъ губкой спину.

А Настя закривилась: „Вы съ лѣвой ножки, графинюшка, поднялись, постойте хоть минутку; иначе какъ же застегнуть?“

Когда изъ спальни Соня вышла въ классную, во всемъ огромномъ домѣ еще почти никто не подымался, и было даже жутко, такъ тихо и темно. Замерзли стекла и въ коридорѣ, въ классной, въ проходной отъ оконъ вѣяло морозомъ, ночью, снѣгомъ, какою-то знакомой, близкой свѣжестью захолодѣвшаго, остывшаго, большого темно-утренняго дома, а сквозь расписанность узора блестѣла, серебрясь, послѣдняя звѣзда. Настя ушла къ себѣ наверхъ вздремнуть еще часовъ до десяти, а Соня принялась отыскивать тетради, потомъ задумалась и задремала... Когда жъ очнулась ужъ въ комнатахъ совсѣмъ свѣтало, далеко гдѣ-то у столовой топили печку, а въ коридорѣ Сенька въ передникѣ и въ мягкихъ туфляхъ тряпкой смахивалъ

съ картины пыль. И Соня разсердилась, что Сенька видитъ, какъ рано она встала за уроки, она сердилась и на Настю, и на капризную маман, и на проклятую miss Kiltt, и надерзила ей опять, какъ только утромъ та пришла. Miss Kiltt вскочила, отпихнула книгу и бросилась къ графинѣ разсказать, что заниматься больше такъ она не можетъ. Но къ счастію графини не было ужъ дома, она уѣхала сегодня рано, къ кому-то, кажется, на отпѣванье, и miss сконфуженно вернулась назадъ ни съ чѣмъ и продолжала заниматься.

Днемъ прїѣзжали Воротынскія, сама княгиня съ младшею Наташой. Наташа первый годъ еще, какъ выѣзжала, застѣнчивая, тоненькая, но уже высоко-мѣрная, такая модная, душистая красоточка, она съ восторгомъ дѣлала визиты, шуршила юбочкой и чудно такъ картавила и щурилась съ лорнеткой.

Въ субботу звали вечеромъ къ нимъ на спектакль и съ Соней непремѣнно; въ видѣ исключенья, тамъ будутъ и другія ея сверстницы. Графиня обѣщала и очень ихъ благодарила, когда-жъ онѣ уѣхали, сказала Сонѣ строго, что еще подумаетъ и поговоритъ съ miss Kiltt.

И до субботы, до самаго обѣда Соня не знала:ѣдетъ или нѣтъ, а за обѣдомъ ей сказали, что она останется. Соня не отвѣтила ни слова, а только закраснѣлась вся и опустила внизъ глаза.

„Такъ что же,ѣдете,графинюшка?“ спросила въ коридорѣ Настя.

„Нѣтъ“.

И отнесли обратно приготовленное платье.

Въ десятомъ, кажется, часу графиня стала одѣваться, ходили мимо Настя и старшая, Раиса Тимофеевна, носили кружева, картонки и цвѣты... и, наконецъ, шуршащая, хорошенъкая и обнаженная, въ прелестномъ свѣтло-сѣромъ платьѣ съ кружевами, въ фамильныхъ жемчугахъ, въ очаровательной прическѣ, своей особенной плѣнительной по-

ходкой прошла графиня. За ней Раиса, Настя, Шурка.

„Какъ, Соня, ты еще не спишь? Ложись, пожалуйста, сейчас же, и плакать нечего, все отъ тебя же отъ самой зависить. А Fräulein еще домой не возвращалась?“

Затихло, но Соня не тронулась съ дивана.

„Вы что-жъ, графинюшка, не ложитесь?“ вернулась изъ передней Настя.—„А?“

Соня не отвѣтила и даже къ ней не обернулась.

„Право бы ложились. Чего грустить, вѣдь ваша жизнь еще вся впереди“. Настя постояла немного молча. „Право бы послушали меня, ну что за горе, что не взяли. Когда въ ученыи я жила у тетеньки, меня, бывало, тоже часто такъ... и даже подъ ключемъ еще держали. Бывало, въ воскресенье всѣ уйдутъ, гуляютъ, а тутъ одна сидишь себѣ. Другой разъ и не высидишь, да чрезъ окошко въ полисадникъ.“

Соня обернулась чуть, а Настя замолчала и ждала.

„Ты куда же уѣгала?“

„Куда? Простите, пожалуй, вамъ, графинюшкѣ, и знать-то не годится“.

Подождала, склонилась:

„Тамъ кавалеръ, красавчикъ былъ одинъ, ну вотъ и уѣгала“.

„А какъ же тетя-то, не знала?“

„Сперва не знала, а потомъ узнала“.

„Ну и что же?“ повернулась ужъ совсѣмъ графинюшка.

„Когда узнала-то? Да по головкѣ не погладила“.

„А что же?“

„Да что же—заперла еще, да еще наказала... розгой“.

Соня тихо закраснѣлась, чуть задрожали губки, защурился глазокъ.

„Ахъ, вѣсть наказывали тамъ розгой, гдѣ ты училася?“

Настя не отвѣтила, лишь отвернулась, улыбнулась и тоже засияла румянцемъ.

„Насъ, дѣвочекъ, тамъ много было всякихъ“,—продвинулась она едва впередъ.

Помолчали.

„А вѣсъ-то, Сонечка, зачѣмъ на той недѣлѣ, помните?.. Графиня приказала мнѣ просить вѣсъ въ кабинетъ?“ Она приблизилась совсѣмъ уже къ дивану и, розовѣя, тихо улыбалась.

А Соня повернулась къ ней еще... и слился въ ея горящихъ мысляхъ та швейная, сомнительная, грязненькая мастерская, со злую паучихой-теткой, и величавый, раздущенный, покойный графскій кабинетъ съ почтеною газетой, съ изящнымъ шелковымъ шитьемъ.

„Вѣдь вѣсъ, графинюшку?..“

Графинюшка привстала, она дрожала вся отъ ужаса неясного, отъ страха, отъ надвигающейся, непонятной, невозможной близости.

„Вы, Сонечка, вы—дѣвочка-красоточка“.

И Настя тронулась еще... но вдругъ замедлила, потупилась, и только ноготкомъ тихонько поскребла узоръ дивана.

А Соня длительно склонила глазки, искоса взглянувъ и въ нерѣшительной, томительной надеждѣ, зарозовѣла, затеплѣла вся, ползущимъ, заливающимъ румянцемъ.

И въ зажужжалей тишинѣ лишь груди трепетной шуршанье, лишь... снова изогнулась близко къ дѣвочкѣ... но Соня шевельнулась, чуть отодвинулась подальше по дивану, чуть передернулся пушокъ бровей. И Настя, отстринилась, отступила, не съ разу, какъ-то удивленно, смущенно скрадывая взоръ.

Затихли.

Далеко въ коридорѣ раздались шаги.

„Вѣдь это фрѣлинъ“,—зашептала Настя и быстро отошла, подкальвая шпилькой косу.

„Скорѣе, Сонечка, ложитесь“, а пальцы зами-

рали и не могли онѣ никакъ раздѣтъся. Но Fräulein, вернувшись изъ гостей, на счастье, задержалась гдѣ-то въ дальнемъ коридорѣ по своимъ дѣламъ, когда-жъ она взошла, ужъ Сонечка укрылась и горѣла ночь.

„Тутъ что же еще Соня все не спить?“

„Графинюшка звонили, занедоровилось немнога“ — и быстро прошмыгнула въ дверь.

Но Соня утомленно черезъ сонъ сказала понѣмецки, что все уже прошло.

И въ домѣ стало затихать. Огонь вездѣ почти что погасили, лишь Fräulein въ ночной, опрятной кофточкѣ, разматривала долго захваченные ею изъ гостей берлинские журналы, да у парадной лѣстницы, въ большой передней, свѣтился жалобно одинъ рожокъ и разносился по пустыннымъ сводамъ невѣроятный храпъ на креслѣ задремавшаго Антона.

Вернулись со спектакля не очень поздно. У подъѣзда остановилась карета, въ передней за свѣтилось электричество и съ лѣстницы сбѣжалъ Антонъ. А черезъ нѣсколько минутъ уже зажгли и въ коридорѣ, и зашуршали женственно графинины шаги. Соня притаилась и стала слушать: открылись гдѣ-то двери, послышались еще шаги, деревянные, мѣщански-глупые и голосъ Fräulein, о томъ, что Соня не совсѣмъ здорова. Вновь зашуршало въ коридорѣ, и это женское, скользящее шуршанье затрепетало въ Сонѣ страхомъ, радостью, мечтою и надвигающимся счастьемъ.

„Соня, спиши?“

Блеснуло электричество и въ комнатѣ графиня, немного утомленная, скучающе-лѣнивая и чудно обнаженная, шуршащая и женская. Она присѣла на кровать, въ лицѣ у ней ужъ не было ни строгости, ни раздраженія, она устало-безпокойно потрогала ей голову.

„А у тебя, пожалуй, жаръ, ты вся горишь.“

Поставили термометръ, но оказалось 36,2.

„Тутъ просто, кажется, большое горе, что на спектакль не попали“. Маман поцѣловала, перекрестила и ушла. Но Соня отвернулась, она не смѣла цѣловать, она горѣла и ждала.

А въ спальнѣ передъ зеркаломъ графиню раздѣвали Настя и маленькая Шурка (Раису Тимофеевну ночью не будили). Раздѣли платье и обнаженными руками графиня распускала волосы, потомъ уже на креслѣ раздѣвали, тамъ, впрочемъ, Настя лишь одна, и отъ узорнаго бѣлья, отъ обнажившихся плечей, отъ рукъ, отъ груди—струились женскими вечерними неясными духами. Услали Шурку, Настя прибрала послѣднее и, загасивъ большое электричество, зажгла на столикѣ за зеркаломъ, задернутую синимъ, тускнѣющей лампочку.

Пришелъ графъ и Настя поспѣшила удалиться. Графъ дочиталъ какое-то письмо, завелъ часы, пробормоталъ, что на спектаклѣ была тоска, зѣвнулъ и спрятался подъ мягкимъ одѣяломъ.

„А знаешь, Соня всю ночь плакала и до сихъ поръ не спить“.

Графъ повернулся, онъ такъ любилъ этотъ немного вялый, капризно-тянущійся голосъ Сонечки-жены.

„Не спить?“

„Да, до сихъ поръ... мнѣ кажется, что мы уже немного строго съ ней“.

„Да ничего. Наоборотъ, мы страшно въ сущности ее балуемъ, а если иногда и посидитъ одна, повѣрь, что кончатся скорѣй капризы“.

Онъ загасилъ тускнѣющую лампочку; въ душистой спальной темнотѣ, продвинувшись туда, гдѣ слышался капризный голосокъ и нѣжное дыханье, и нѣжная полнѣющія плечи, и теплые колѣнки, и теплый, близкій, сладостный, забвенный сонъ.

Юрій Череда.

Ушедшей.

Дышать ласковыя тѣни,
Даль тиха и глубока.
Зовъ вечернихъ откровеній
Прозвучить издалека.

Послѣ шума долгой битвы,
Встрѣтивъ алую зарю,
Тиховѣйныя молитвы
Молчаливо сотворю.

Жди меня за синей далью!
Я приду къ тебѣ одинъ
Съ неразсказанной печалью
Успокоенныхъ глубинъ.

Владимиръ Линденбаумъ.

* * *

Въ земныхъ одеждахъ погребальныхъ,
Во мглѣ, гдѣ все—обманъ и прахъ,
Душа, томясь, скорбить о дальнихъ,
Непостижимыхъ небесахъ.

Но, можетъ быть, и въ горныхъ странахъ,
Въ лазурно-блещущей дали,
Ей не забыть о злыхъ туманахъ,
О скорби сумрачной земли.

Быть можетъ, за земной чертою,
Неутолимая, она
Все той же мукою земною
Еще страдать обречена.

Обречена—надъ мглой земного,
Въ лазурно-блещущей дали,
Въ безмѣрной мукѣ жаждать снова
Освобожденья отъ земли.

Владимиръ Линденбаумъ.

Соціализмъ и анархизмъ *).

Каждой эпохѣ присущъ какой-нибудь центральный умственный споръ, возбуждающій мысль, будящій совѣсть и этимъ беспокойствомъ поддерживающій духовное горѣніе. Для того, чтобы умственный конфликтъ получилъ такое культурное значеніе, необходимо, чтобы въ немъ столкнулись не истина и ложь, а двѣ истины, какъ бы исключающія одна другую, но равно желанныя. Отъ присутствія въ душѣ двухъ различныхъ истинъ возникаетъ токъ умственной энергіи, подобно тому, какъ электрический токъ рождается отъ погружения въ одну и ту же среду двухъ разныхъ элементовъ. Важно даже не то, чтобы два столкнувшихся мнѣнія заключали въ себѣ объективную истину; достаточно, чтобы они казались истинными сознанію эпохи. Такъ, въ началѣ среднихъ вѣковъ различными по содержанію и равно истинными казались принципы духовной и свѣтской власти, и этотъ конфликтъ между авторитетомъ папы и властью императора, волнуя мысль и совѣсть многихъ поколѣній, долгое время служилъ возбудителемъ умственной энергіи въ Европѣ. Впослѣдствії, при реформації, такую же центральную роль игралъ вопросъ о спасеніи вѣрой или добрыми дѣлами. Въ нашу эпоху умственнымъ центромъ, вокругъ котораго вращаются всѣ другія идеи и мнѣнія, является споръ между соціализмомъ и анархизмомъ. Если исключить чистое естествовѣданіе, то не найдется области ни практической, ни теоретической дѣятельности, въ которой мы съ первого же шага не встрѣтились бы съ вопросомъ объ отношеніи личности къ государству.

*.) Редакція помѣщаетъ настоящую статью, не будучи вполнѣ солидарной съ высказанными въ ней взглядами.

О политикѣ и экономикѣ говорить нечего. Онѣ сдѣлались непосредственной ареной этого конфликта. Но и мораль, и философія, и художественное творчество нашего времени имѣютъ своимъ средоточиемъ интересы личности, въ ея тяжбѣ съ обществомъ. Уйти отъ этого спора, не принявъ въ немъ опредѣленного положенія, для современника такъ же невозможно, какъ въ средніе вѣка невозможно было не занимать твердой позиціи въ вопросѣ религіозномъ. Нельзя быть въ наше время культурнымъ человѣкомъ, не относясь, такъ или иначе, къ конфликту между личностью и обществомъ.

Но рѣшить этотъ конфликтъ не легко, ибо, какъ я уже сказалъ, въ немъ сталкиваются не истина и заблужденіе, а двѣ истины. Существуетъ въ наше время еще другой волнующій конфликтъ,— между соціализмомъ и буржуазнымъ строемъ. Но въ немъ принять опредѣленное положеніе не трудно. Кто убѣжденъ въ справедливости соціализма, тому буржуазный идеалъ представляется въ основѣ ложнымъ, тотъ не можетъ относиться къ нему не враждебно. То же самое слѣдуетъ сказать о конфликте между двумя видами соціализма: авторитарнымъ и либертарнымъ. Одинъ исключаетъ другой, и кто принимаетъ программу соціаль-демократической партіи, тотъ не можетъ не относиться отрицательно къ идеямъ Кропоткина и наоборотъ. Не таковъ конфликтъ между соціализмомъ и анархизмомъ. Идеалъ общественной гармоніи, признающій одну общечеловѣческую семью, одно всемирное хозяйство, въ которомъ каждый участвуетъ по мѣрѣ своихъ силъ, заботясь не о своемъ благѣ, но о благѣ всѣхъ, жертвуетъ своимъ эгоизмомъ, но взамѣнъ получаетъ тысячи, миллионы заботъ и услугъ, подчиняетъ свою волю власти цѣлаго, которая взамѣнъ обеспечиваетъ ему полную свободу развитія,—такой идеалъ представляется и нашему сознанію, и нашей совѣсти абсолютно истиннымъ

и желаннымъ. Но въ равной степени истиннымъ и желаннымъ представляется намъ идеалъ личной свободы, полной независимости отъ другихъ, внутренняго простора и абсолютной самоцѣльности. А между тѣмъ, эти два идеала, равноцѣнны для мысли и совѣсти, кажутся различными по содержанію, и является, такимъ образомъ, необходимость сдѣлать выборъ между ними, рѣшить, такъ сказать, какой изъ двухъ идеаловъ идеальнѣ. Задача, очевидно, трудная для разрѣшенія, и на почвѣ эмпиріи даже не разрѣшившаяся. Другое дѣло, если свести эту эмпирическую двойственность къ высшему единству, если признать, что въ обоихъ идеалахъ, подъ различной видимостью, осуществляется одна и та же сущность, что самая ихъ двойственность является условіемъ этого высшаго единства.

До сихъ порь теоретики соціализма и анархизма относились къ спору не такъ. И тѣ и другие считали свой идеалъ исключительно истиннымъ и всѣ силы своего ума употребляли на то, чтобы собрать побольше доводовъ въ пользу своей истины и какъ можно больше возраженій противъ истины противника. Такъ поступали главари движенія, тағъ, въ подражаніе имъ, до сего дня ведутъ споръ ихъ сторонники и послѣдователи. Одновременное раскрытие двухъ идеаловъ, которое, подобно зреѣнію двумя глазами, должно было бы дать человѣчеству возможность замѣнить прежнее плоское пониманіе жизни болѣе глубокимъ, выпуклымъ, реальнымъ, это великое явленіе въ области духа превратилось въ схоластический споръ о томъ, чѣмъ предшествуетъ, личность обществу или общество личности, или, что еще хуже, въ адвокатскую тяжбу аргументовъ, въ рѣзкую полемику. До сихъ порь, по вѣрному замѣчанію Амона, „соціаль-демократы величаютъ анархистовъ сумасшедшими, провокаторами, шпionами, глупцами, анархисты же, въ свою очередь, бросаютъ соціаль-

демократамъ въ лицо упреки въ безчестности, ненавистничествѣ, политиканствѣ, сплетничествѣ⁶. Идейная же сущность конфликта остается невыясненной, и основной вопросъ, исключаютъ ли оба идеала — соціалистический и анархический — одинъ другой или же они представляютъ два полюса одной и той же волевой сферы,—вопросъ этотъ не только не былъ рѣшенъ, но никѣмъ донынѣ не поставленъ. Равнымъ образомъ никѣмъ не была указана та первичная двойственность, въ которой происходитъ начальное раздѣленіе соціализма и анархизма. Обычное же противопоставленіе личности и общества, эгоизма и альтруизма, индивидуализма и чувства соціальности, автономіи и власти, или свободы и равенства, какъ увидимъ впослѣдствіи, конфликта между соціализмомъ и анархизмомъ не только не разрѣшаетъ, но и не мотивируетъ.

Однако, прежде чѣмъ разобраться во всѣхъ этихъ сложныхъ вопросахъ, необходимо вкратцѣ указать на классификацію и терминологію интересующихъ насть мнѣній.

Въ великой борьбѣ, которую современное человѣчество ведетъ за свободу, принимаютъ участіе три большія группы. Во-первыхъ, авторитарные соціалисты разныхъ оттѣнковъ; изъ нихъ самую крупную роль въ политической жизни Европы играютъ соціалъ - демократы или марксисты. Во-вторыхъ, анархисты, или, какъ принято ихъ называть, анархисты - индивидуалисты, теоретические взгляды которыхъ всего ярче выражены Штирнеромъ. И, въ третьихъ, либертарные соціалисты, неточно называемые анархистами - коммунистами, считающіе своими теоретическими вождями Прудона, Бакунина и Кропоткина. Самой вліятельной до послѣдняго времени была первая группа. Но послѣдняя оказывается наиболѣе жизнеспособной и быстро растущей. Начавшись съ мало практиче-скихъ и нѣсколько противорѣчивыхъ идей Пру-

дона, либертарный соціализмъ быстро эволюціонируетъ и въ наши дни имѣть тенденцію слиться съ огромнымъ рабочимъ движениемъ, которому принадлежитъ будущее, съ движениемъ, извѣстнымъ подъ названіемъ синдикализма. Къ главнымъ тремъ группамъ примыкаютъ промежуточныя формы. Сюда относится партія соціалистовъ-революціонеровъ, а также доктрины Тукера и Маккай, которыхъ также называютъ анархистами - индивидуалистами, но которые на самомъ дѣлѣ занимаютъ среднее мѣсто между анархизмомъ и прудонизмомъ. Всѣ эти группы и подъ-группы имѣютъ между собою то общее, что всѣ онѣ безъ исключения отвергаютъ всякія метафизическія и мистическія обоснованія и сами себя считаютъ эмпиріками и позитивистами. Въ сторонѣ отъ нихъ стоитъ огромная фигура Толстого съ его религіозно-альtruистически-земледѣльчески-пассивнымъ анархизмомъ, учениемъ самымъ простымъ, какъ бы дѣтски-простымъ и, можетъ быть, самымъ глубокимъ и сложнымъ изъ всѣхъ.

Чтобы точнѣе опредѣлить взаимное отношеніе этихъ трехъ группъ между собой, полезно, прежде всего, указать на отношеніе каждой изъ нихъ къ современному строю. Нынѣшній буржуазно-капиталистической строй держится на двухъ главныхъ, какъ бы противорѣчивыхъ принципахъ: на индивидуализмѣ, принципѣ самостоятельной личности, и на этатизмѣ, принципѣ государственной власти. Согласно первому принципу, каждый имѣть равное право стремиться къ неравенству. Согласно второму, государственная власть насильственно охраняетъ фактически созданное неравенство. Изъ этихъ двухъ устоевъ буржуазного строя авторитарный соціализмъ вполнѣ отвергаетъ индивидуализмъ, замѣняя множество частныхъ хозяйствъ однимъ общественнымъ, но за то онъ цѣликомъ принимаетъ принципъ насильственной власти, ставя ей въ обязанность препятствовать личности стре-

миться къ неравенству. Анархизмъ, наоборотъ, совершенно отмечаетъ принципъ власти, какой бы то ни было, организованной или договорной, во имя неограниченного суверенитета личности. Принципъ же индивидуализма анархизмъ не только допускаетъ, но усиливаетъ, доводить до крайняго выражения, считая собственникомъ всего міра саму личность и единственнымъ закономъ морали абсолютный эгоизмъ. Такимъ образомъ, ни авторитарный соціализмъ, ни анархизмъ не порываются вполнѣ съ буржуазной идеологіей и остаются связанными съ ней первый—принципомъ либеральной власти, второй—принципомъ свободной личности. Знакомые съ литературой предмета знаютъ, что соціалисты и анархисты, полемизируя между собою, прежде всего спѣшатъ обругать другъ друга кличкой буржуа. Мы теперь видимъ, что, поступая такъ, они подчиняются не только полемическому задору, ибо властолюбіе соціалистовъ и проповѣдь самолюбія со стороны анархистовъ, въ самомъ дѣлѣ, роднятъ тѣхъ и другихъ не только съ идеологіей, но и съ психологіей ненавистной имъ буржуазіи. Вполнѣ радикальными оказываются либертарные соціалисты, которые одновременно отрицаютъ и частную собственность, и организованную власть, и такимъ образомъ въ правѣ считать себя совершенно исцѣлившимися отъ отравы мѣщанского жизнепониманія и жизнеустройства.

Взаимные отношенія названныхъ трехъ группъ опредѣляются слѣдующимъ образомъ. Авторитарный соціализмъ и анархизмъ представляютъ изъ себя два диаметрально противоположныхъ устремленія, огонь и воду, да и нѣтъ соціального міропониманія. Власть—необходимое условіе свободы; власть—единственное препятствіе къ свободѣ. Личный эгоизмъ—верховный принципъ; личный эгоизмъ—высшее зло. Между такими крайностями невозможенъ ни компромиссъ, ни переходъ. И замѣчательно, что именно эта кажущаяся противо-

положность и является условіемъ гармонического существованія обѣихъ доктринъ, между тѣмъ, какъ оба пониманія соціализма, имѣя общія точки санія, дѣйствительно исключаютъ одна другую.

Гораздо труднѣе опредѣлить отношеніе анархизма къ либертарному соціализму. Съ первого взгляда между обѣими доктринами есть нѣчто общее—одинаково отрицательное отношеніе къ принципу власти. Благодаря этому будто бы общему отрицательному признаку, изслѣдователи анархизма, — Эльцбахеръ, Амонъ, Кульчицкій, Башъ и многие другие,—слили ученія Штирнера и Толстого съ ученіями Прудона, Бакунина и Кропоткина въ одно общее анархическое теченіе съ подраздѣленіемъ на два параллельныхъ потока—анархизмъ индивидуалистический и коммунистический. Признакомъ принадлежности къ тому или другому считается отношеніе къ собственности. Кто признаетъ собственность частную, тотъ причисляется къ индивидуалистамъ, кто признаетъ собственность общественную, причисляется къ коммунистамъ. Минь эта классификація кажется глубоко невѣрной и положенные въ ея основу признаки—случайными. Вообще нельзя достаточно энергично возражать противъ объединенія, съ одной стороны Штирнера и Нитцше и, съ другой, Прудона, Бакунина и Кропоткина подъ общей рубрикой анархистовъ. Дѣло, конечно, тутъ не въ словѣ, а въ смѣшении понятій при помощи слова. Если Штирнера и Нитцше называютъ анархистами,—а кто же станетъ спорить противъ того, что это опредѣленіе къ нимъ подходитъ,—то Бакунина и Кропоткина нельзя ни въ коемъ случаѣ покрывать тѣмъ же ярлыкомъ. Между ними разница не въ оттѣнкахъ, не въ уклонахъ, а въ главномъ устремленіи. Между ними такая же полярность, такая же неперешагаемая бездна, какъ между Штирнеромъ и Нитцше, съ одной стороны, и Марксомъ и Энгельсомъ—съ другой.

Смѣшеніе понятій и даже полунамѣренная смута внесены были въ эту область авторитарными соціалистами, которые, чувствуя въ либертаристахъ своихъ опаснѣйшихъ противниковъ, не могли устоять противъ искушеній пристрастной полемики. Въ ихъ цѣляхъ полезно было смѣшать практическихъ революціонеровъ, вродѣ Бакунина и Кропоткина, съ безпочвенными теоретиками, какъ Штирнеръ, чтобы огуломъ осудить ихъ, какъ идеологовъ буржуазіи и утопистовъ. Если же революціонеры-либертаристы не протестовали противъ названія анархистовъ и сами примѣняютъ его къ своимъ ученіямъ, то это лишь доказываетъ ихъ гордуюувѣренность въ своей правотѣ и пренебреженіе къ тѣмъ или другимъ кличкамъ. Впрочемъ, личная соображенія противниковъ наскѣ не касаются. Для наскѣ, приступающихъ къ изученію вопроса безъ предвзятой истины, но съ готовностью привѣтствовать истину, на чьей бы сторонѣ она ни оказалась, важно лишь то, чтобы въ основу классификаціи соціально-нравственныхъ системъ положенъ былъ признакъ не случайный, а самый жизненный и необходимый. Отношеніе къ институту власти или къ институту собственности еще не решаетъ принадлежности того или другого мыслителя къ соціалистамъ или анархистамъ. Рѣшающимъ, жизненнымъ признакомъ слѣдуетъ считать общее устремленіе всей доктрины, ея конечную цѣль, тотъ идеалъ, къ осуществленію котораго она вся направлена. Бакунинъ и Кропоткинъ, точно такъ же, какъ Марксъ и Энгельсъ, должны быть одинаково отнесены къ соціалистамъ потому, что всѣ они стремятся къ общественной гармоніи, къ благу не одного, а всѣхъ, не человѣка, а всего человѣчества, къ тому, чтобы счастливая личность чувствовала себя въ совершенномъ человѣчествѣ, какъ здоровая клѣтка въ живомъ организмѣ. Вотъ почему Прудонъ, не смотря на признаніе

имъ частной собственности, все же долженъ быть причисленъ къ либертарнымъ соціалистамъ, ибо всѣ отношения будущаго общества онъ строить на справедливости,—чувствѣ соціальному и ведущемъ къ гармоніи. Штирнеръ же и Нитцше, не смотря на то, что первый отрицає всякую власть, а второй волю къ власти считаетъ сильнѣйшимъ и благороднѣйшимъ стимуломъ духовной дѣятельности, должны быть оба отнесены къ анархистамъ, потому что оба конечной цѣлью своихъ устремленій признаютъ отдѣльную личность, Штирнеръ—своего „Единственного“, а Нитцше—своего сверхчеловѣка, потому что общество кажется имъ врагомъ, средствомъ, орудіемъ, а абсолютный эгоистъ—благомъ, цѣлью, истиной. Равнымъ образомъ, ученіе Толстого всецѣло примыкаетъ къ анархизму, а не къ соціализму, потому что цѣлью всѣхъ его устремленій является не совершенное общество, а совершенная личность, хотя онъ совершенство видитъ не въ эгоизмѣ, а въ любви. Сравнивая между собою анархистовъ и либертаристовъ, нужно помнить, что важно не формальное отрицаніе власти, а содержаніе этого отрицанія. Анархисты отрицаютъ не ту или другую форму власти, не только государство и общество, но и человѣчество. Приводя ходячее мнѣніе о томъ, что государство есть необходимѣйшее средство для полнаго развитія человѣчества, Штирнеръ прибавляетъ: „государство, безъ сомнѣнія, является такимъ средствомъ до тѣхъ поръ, пока мы стремимся развивать человѣчество, но если мы захотимъ развивать себя, то оно будетъ намъ только помѣхой“. Между тѣмъ либертаристы или, какъ ихъ неточно называютъ, анархисты-коммунисты, отрицаютъ лишь власть опредѣленную, власть государственно-организованную, выросшую въ отдѣльный общественный органъ. Но они не отрицаютъ власти, осуществляемой въ каждомъ производствѣ самими

рабочими, а въ дѣлахъ общественныхъ—всѣмъ обществомъ. Если Штирнеръ и Ницше стремятся къ анархіи, къ безвластію, въ противоположность всякой обязательной нормѣ, то Прудонъ, Бакунинъ и Кропоткинъ стремятся къ панархіи, къ власти всѣхъ и каждого, въ противоположность постоянной власти, превратившейся въ особую специальность и привилегію.

Не буду дольше останавливаться на выясненіи различій, существующихъ между анархизмомъ и либертаризмомъ. Эти различія не выросли въ историческій конфліктъ, потому что критика анархизма была направлена противъ соціализма вообще, а не противъ одного изъ его выражений. Исторически же выявленныхъ конфлікта передъ нами два: первый—между анархизмомъ и соціализмомъ вообще, второй—между обѣими формами соціализма. Нѣть сомнѣнія, что второй конфліктъ практически важнѣе. Отъ того, побѣдить ли соціаль-демократическая партія или либертарный синдикализмъ, зависитъ не рѣшеніе той или другой морально-философской проблемы, а направление всей истории, судьба всѣхъ духовныхъ цѣнностей. Но раньше чѣмъ высказаться за ту или другую форму соціализма, необходимо разсмотрѣть первый конфліктъ и решить, приемлемъ ли соціализмъ вообще. Вѣдь если бы правда оказалась на сторонѣ Штирнера и Ницше, то мы должны были бы отринуть одновременно и авторитарный соціализмъ, и либертарный синдикализмъ и, стеревъ все многообразное содержаніе соціальныхъ доктринъ, зачеркнуть вмѣстѣ съ тѣмъ исторію человѣчества и вмѣсто нея начертать два слова: „я“ и „мое“.

Итакъ, ставлю вопросъ: въ чёмъ заключается конфліктъ между соціализмомъ и анархизмомъ? Какова та первоначальная двойственность, въ которой оба міровоззрѣнія расходятся, чтобы потомъ уже больше ни въ чёмъ не сойтись? Сами

анархисты видятъ эту основную двойственность въ различномъ отношеніи къ личности и обществу. Если признать, что общество опредѣляетъ и формируетъ личность, то получится пониманіе соціалистическое. Если историческій приматъ отдать личности, то получится пониманіе анархическое. Такъ, по крайней мѣрѣ, убѣждены теоретики обѣихъ доктринъ. Но въ томъ-то и дѣло, что философы и соціологи весьма часто ошибаются насчетъ истинныхъ мотивовъ и причинъ, которые заставили ихъ принять то или другое ученіе. Весьма часто они считаютъ причиной своихъ теоретическихъ устремленій то, что на самомъ дѣлѣ является ихъ слѣдствіемъ. Истинная причина, дѣйствительная сила, приведшая философа къ его системѣ, всего чаще скрывается въ его волѣ въ несознанныхъ влеченияхъ. Мысль же и логика, подобно фонарямъ, помѣщеннымъ впереди локомотива, освѣщаютъ своимъ свѣтомъ путь, избранный не ими, обусловленный силой, скрытой позади, имъ невидимой и невѣдомой. Мы вскорѣ убѣдимся въ томъ, что доводы, которыми анархизмъ пытается расшатать устои соціализма, на самомъ дѣлѣ, лишь укрепляютъ ихъ. Чѣмъ ближе будемъ изучать эти доводы, тѣмъ для нась станетъ несомнѣннѣе, что истинная причина, раздѣляющая анархистовъ и соціалистовъ, имъ самимъ остается равно неясной. Ее-то и необходимо прежде всего раскрыть.

Соціализмъ, какъ извѣстно, отвергъ всѣ религіозныя и философскія гипотезы и нормы, и всю исторію свелъ къ эмпирікѣ, къ борьбѣ классовъ за экономические интересы. Теоретики анархизма, со Штирнеромъ во главѣ, какъ бы ловятъ на словѣ соціалистовъ и говорятъ имъ: Ужъ если съ высотъ метафизики сойти на землю эмпиріки, то нужно сдѣлать это до конца. Идея класса такая же отвлеченно-метафизическая, какъ идея общества, человѣчества или Бога. Въ чистой эмпи-

рикъ человѣку открывается только его собственная личность, не личность вообще, не одна изъ многихъ личностей, а его единственная личность и ея исключительные интересы. Чистая эмпирика ведеть къ чистому индивидуализму, во имя кото-рого соціалистическое государство должно быть отринуто такъ же рѣшительно, какъ государство буржуазное или феодальное. Соціализмъ, такимъ образомъ, какъ бы самъ попалъ въ яму, которую онъ копалъ метафизикъ. Анархизмъ побѣдилъ его въ первичномъ фактѣ сознанія. Такъ, по крайней мѣрѣ, оно кажется съ первого взгляда.

Приступая къ критикѣ анархизма, нужно прежде всего установить, что „Единственный“ Штирнера имѣть такое же общее значеніе, какъ „я“ или субъектъ метафизиковъ. Единственный не значитъ единый въ мірѣ, но личность, сознающая себя съ характеромъ замкнутости въ себѣ, несвободимой къ другимъ, единой для себя. Если бы Штирнеръ считалъ Единственного единымъ въ мірѣ, онъ не могъ бы мечтать о замѣнѣ теперешняго государства свободнымъ союзомъ эгоистовъ. „Я, какъ эгоистъ,—говорить онъ,—не интересуюсь благомъ человѣческаго общества, не жертвую ему ничѣмъ, а только пользуюсь имъ; но чтобы имѣть возможность вполнѣ пользоваться имъ, я превращаю его въ мою собственность, въ мое твореніе, т.-е. я уничтожаю его и образую вмѣсто него союзъ эгоистовъ“. Очевидно, для того, чтобы, образовать такой союзъ, абсолютный эгоистъ долженъ допустить существование другихъ, подобныхъ ему эгоистовъ, другихъ для себя единственныхъ. Но какъ только это допущеніе сдѣлано, все зданіе абсолютного эгоизма рушится, и единственный остается ровно въ такомъ же положеніи, въ какомъ до него находился членъ несвободного государства. Пусть онъ во имя эгоистическихъ интересовъ ополчается на всякую власть, самъ относится ко всѣмъ съ непримири-

мымъ эгоизмомъ, но въ его же интересахъ, чтобы другіе относились къ нему не эгоистически, а соціально, чтобы другіе эгоисты отказались отъ своего индивидуалистического первородства ради любви къ ближнему. Единственный, не признавая ни въ комъ ближняго, остается самъ ближнимъ для другихъ. Личность и общество,—эти два будто бы исключающихъ одно другое начала,—оказываются слитыми въ психологіи самого единственного, въ которой они нейтрализуются. Идея личности остается антитезой идеи государства только въ области чисто формальныхъ опредѣлений, ни къ чему не обязывающихъ и ничего не отрицающихъ. Но какъ только въ эти дефиниціи вложить живое содержаніе, то, исходя изъ абсолютного эгоизма, можно съ одинаковой логичностью отрицать государственность и утверждать ее во всѣхъ видахъ, до деспотизма включительно. И самымъ яркимъ подтвержденіемъ этому служить ученіе Нитцше, который по сознанію своей личной особенности и по силѣ эгоизма не уступить Штирнеру, и тѣмъ не менѣе волю къ власти считаетъ интимнѣйшимъ выраженіемъ суверенной личности. Отъ того же абсолютного эгоизма Штирнеръ заключаетъ къ безвластію, Нитцше—къ культу власти. Очевидно, что между началомъ личности и тѣмъ или другимъ отношеніемъ къ власти нѣть внутренней необходимой связи.

Въ самомъ дѣлѣ, если раскрыть понятіе обѣ анархій, то мы увидимъ, что оно заключаетъ въ себѣ два момента: неподчиненія власти другихъ и неисканія власти надъ другими. Штирнеръ, отрицая власть, имѣлъ въ виду моментъ непокорности, Нитцше, утверждая власть, имѣлъ въ виду моментъ покоренія. Но и единственному Штирнеру ничто не мѣшаетъ искать власти надъ другими. „Я не хочу,—говорить онъ,—признавать или уважать тебя, какъ человѣка, но я хочу тобою поль-

зоваться". „Тебя я цѣню лишь настолько, насколько ты мнѣ полезенъ, и ты моя собственность, потому что я извлекаю изъ тебя пользу“. Но пользоваться человѣкомъ, какъ собственностью, значитъ превратить его въ раба, пріобрѣсти надъ нимъ неограниченную власть. То же самое право предоставляетъ личности и Тукеръ, утверждая, что „каждый индивидуумъ вправѣ подчинить себѣ другихъ людей, вправѣ поработить себѣ весь міръ, лишь бы онъ въ силахъ былъ это исполнить“. Но, поработивъ себѣ другихъ слабѣйшихъ эгоистовъ, сильный эгоистъ во имя властолюбія одной рукой утверждаетъ то самое государство, которое онъ, во имя непокорности, другой рукой разрушаетъ. „Мы, государство и я, враги другъ другу“, объявляетъ абсолютный эгоистъ Штирнера. Такъ, очевидно, говорить эгоистъ слабый, не находящійся у власти. Сильный, нитцшеанскій эгоистъ, захватившій власть, сказалъ бы: я и государство—друзья пріятели.

Въ самомъ эгоизмѣ, такимъ образомъ, оказываются два стремленія, отъ власти и къ власти. Какой же моментъ одержитъ верхъ въ психологіи эгоиста и сдѣлается двигателемъ его поступковъ? Очевидно, отвѣтъ на этотъ вопросъ дастъ не формальная логика, а историческое содержаніе, или, какъ принято выражаться, реальное сопотношеніе силъ. Между многими абсолютными эгоизмами произойдетъ борьба интересовъ, каждый захочетъ пользоваться другимъ, какъ своею собственностью. Въ результатѣ образуется столь любезный Штирнеру „союзъ эгоистовъ“, но съ однимъ оттѣнкомъ, который онъ упустилъ изъ виду. Образуется „союзъ эгоистовъ“ наиболѣе сильныхъ, которые, ссылаясь на доктрину Штирнера, покорятъ себѣ менѣе сильныхъ, или, выражаясь языкомъ единственного, „утолять на нихъ голодъ своего эгоизма“. Когда же слабые сознаютъ свою силу и имъ надоѣсть подчиняться

сильнымъ, они, ссылаясь на того же Штирнера, образуютъ новый союзъ эгоистовъ, подъ названіемъ революціонеровъ, и постараются захватить власть въ свои руки. Словомъ, по совѣтамъ и завѣтамъ „отца анархизма“ образуется нынѣшнее государство, въ которомъ найдутъ себѣ мѣсто всѣ нынѣ существующія партіи, всѣ, кромѣ Штирнера и его единственного.

Такимъ образомъ, присматриваясь ближе къ абсолютному эгоизму, этому рычагу, которымъ анархизмъ надѣется опрокинуть самое понятіе о государствѣ, мы, къ изумленію, видимъ, что это не разрушительный рычагъ, а самая твердая опора всѣхъ существовавшихъ данныхыхъ государственныхъ формъ. Идеалъ Штирнера какъ двѣ капли воды похожъ на самую мрачную дѣйствительность. Великіе государственные насильники, Тамерланы и Наполеоны, были великими, почти абсолютными эгоистами, но только не на бумагѣ, а на дѣлѣ. Но эти подлинные эгоисты, въ отличіе отъ бумажныхъ, тщательно скрывали отъ глазъ толпы тайну эгоизма, кутали ее въ покровы религіозныхъ и гражданскихъ добродѣтелей. Наряду съ великими эгоистами притѣсняли человѣчество и маленькие, не по своимъ намѣреніямъ, а по силамъ. Если же государственные формы эволюціонировали, то не потому, что менѣялось содержаніе людскаго эгоизма, а потому, что менѣялось количество эгоистовъ. Вчерашніе рабы, благодаря не новымъ опредѣленіямъ личности, а новому содержанію культуры, почувствовали свою силу, поняли, что и они, Божьей милостью, эгоисты и приняли участіе въ государственной власти.

Если теперь отъ политическихъ содержаній перейти къ экономическимъ, то увидимъ, что и тутъ Штирнеръ, желая сокрушить основы соціализма, въ дѣйствительности является лишь скромнымъ комментаторомъ соціалистической же программы и тактики. Въ самомъ дѣлѣ, какъ по ученію анар-

хизма должны поступить эгоисты, сознавъ свою экономическую зависимость отъ теперешнихъ собственниковъ? Вотъ отвѣтъ Штирнера. „Если мы хотимъ,—говорить онъ,—завладѣть землей, вмѣсто того, чтобы дать пользоваться ею теперешнимъ „землевладѣльцамъ“, то сойдемся вмѣстѣ, совокупимъ всѣ усилия, образуемъ союзъ, который и станетъ собственникомъ земли. И равнымъ образомъ какъ земли, мы лишимъ ихъ и другой ихъ собственности, чтобы превратить ее въ свою, въ собственность похитителей. Соединимся же, чтобы совершить это похищеніе“.

Призывъ этотъ, очевидно, относится къ неимущимъ, къ тѣмъ самымъ, къ кому обращена проповѣдь соціализма. По содержанію своему, призывъ этотъ совѣтуетъ, во-1-хъ, составить союзъ, т.-е. придать своей борьбѣ характеръ классовый, во-2-хъ, требованія своего эгоизма основывать не на разсужденіяхъ о правахъ, а на силѣ и, въ 3-хъ, отнятую землю и другое имущество превратить въ общую собственность союза. Всѣ эти совѣты „отца анархизма“ абсолютно совпадаютъ съ программой и тактикой правовѣрного соціализма. Трагическое положеніе анархической доктрины заключается въ томъ, что она не въ силахъ выдумать такого формального опредѣленія, которое не приходилось бы въ пору ко всѣмъ существующимъ содержаніямъ. Но если идея анархизма такова, что она примѣнима ко всякому историческому строю, то, очевидно, это идея пустая, безодержательная. Штирнеръ хотѣлъ всей своей доктриной врости въ чистую эмпирику, но его эмпирически найденная личность оказалась самой общей, формальной, отвлеченной идеей изъ всѣхъ, какія когда-либо существовали въ умозрѣніи. Его личность относится враждебно къ исторически сложившейся жизни лишь потому, что она вѣтъ исторіи и вѣтъ жизни.

Но можетъ быть, идеалъ Штирнера, а равно и

другихъ теоретиковъ чистаго анархизма, намѣренно - безодержателенъ и заключается не во внѣшнемъ строительствѣ или разрушениі, а во внутреннемъ раскрѣпощеніи сознанія отъ всѣхъ внутреннихъ же узъ покорности и примиренія? Недаромъ Штирнеръ заявляетъ, что „только потомъ можно узнать, что будетъ дѣлать рабъ, когда онъ разобьетъ свои оковы“. Но оковы эти не внѣшнія, а внутреннія, тѣ самыя, которыми Сократъ самъ себя связалъ, преклонившись передъ законной властью. Соціализмъ освободилъ сознаніе рабочаго класса отъ покорности передъ властью, осуществляемой буржуазіей. Остается еще власть, которая будетъ установлена самимъ пролетаріатомъ, и по отношенію къ ней соціалисты проповѣдуютъ такую же покорность и почтаніе, какъ идеологи прежней государственности къ власти имущихъ. Можетъ быть, цѣль анархизма—итти дальше отъ того мѣста, гдѣ остановился соціализмъ и освободить личность даже отъ той власти, которая служитъ его же интересамъ, даже отъ того союза эгоистовъ, въ который онъ добровольно поступилъ, отъ обязанности исполнить даже тотъ договоръ, который онъ самъ заключилъ? Если это такъ, то мы открыли пунктъ, гдѣ анархизмъ дѣйствительно расходится съ соціализмомъ, и это чрезвычайно важно. Оставляя соціализму устройство всѣхъ внѣшнихъ содержаній, анархизмъ, быть можетъ, стремится стать современной религіей, ибо религія тѣмъ и отличается отъ политики и морали, что она заботится не о внѣшнемъ устройствѣ, но о внутреннемъ душевномъ строѣ, и совмѣстима со всяkimъ внѣшнимъ содержаніемъ.

Штирнеръ самъ не разъ намекаетъ на то, что его цѣль преобразовать не дѣйствительность, а наше отношеніе къ ней. „Было бы глупо, говоритъ онъ,—утверждать, что не существуетъ другой силы, кроме моей. Только мое настоящее от-

ношение къ ней совсѣмъ другое, чѣмъ въ религіозный періодъ моей жизни. Я—врагъ всякаго высшаго могущества, между тѣмъ какъ религія учитъ нась умилостивлять его, смиряться передъ нимъ⁴. Точно также онъ хотѣлъ бы измѣнить отношение человѣка къ равному себѣ. „Прежде личность съ личностью связывалась, а теперь онѣ соединяются. Прежде сынъ и отецъ связывались, какъ члены семьи. Теперь они соединяются, какъ эгоисты“. Въ человѣкѣ Штирнера хочетъ видѣть не священное существо, а предметъ пользованія. „Я нахожу, что соль дѣлаетъ мою пищу вкусной, —поэтому я солю. Я считаю рыбу предметомъ пропитанія,—поэтому я потребляю ее. Ты, по моему, способенъ дѣлать мнѣ жизнь веселѣе,—поэтому я беру тебя въ товарищи“. До сихъ поръ, по словамъ Штирнера, люди искали опредѣленной свободы, искали свободы слова, совѣсти, собраній и потому всегда впадали въ новое рабство,—тѣхъ самыхъ обязанностей, которыя они сами свободно создавали. Истинная свобода должна заключаться въ отрѣшеніи отъ всѣхъ опредѣленій, отъ всякихъ обязанностей, отъ религіи, отъ законовъ, отъ человѣчества. Свобода Штирнера—свобода отъ всякихъ интересовъ и содержаній, потому что сама свобода кажется ему высшимъ интересомъ и высшимъ содержаніемъ жизни.

Здѣсь мы, кажется, стоимъ у самого источника анархистской мысли. И вмѣстѣ съ тѣмъ здѣсь передъ нами открывается основной порокъ всей анархической доктрины. Я не стану повторять обычныхъ выражений, не коснусь вопроса о практической исполнимости свободы безъ внѣшнихъ гарантій, умолчу о томъ, что въ перспективѣ времени общество предшествуетъ личности, не приведу блестящей аргументаціи Бакунина, который въ памфлете „Богъ и Государство“ доказываетъ, что признаніе автономной отъ общества

личности ведетъ къ рабству, ибо автономная личность также полномочна осуществлять свою свободу, какъ и на вѣки себя закабалить, не коснусь также довода, кажущагося Штаммлеру рѣшающимъ въ пользу государственности и заключающагося въ томъ, что анархистомъ человѣкъ можетъ быть только въ годы сознательной жизни, между тѣмъ какъ въ дѣтствѣ и старости онъ обязанъ жить въ зависимости и подчиненіи. Всѣ эти соображенія, сами по себѣ, можетъ быть, важныя, теряютъ всякое значеніе, если понимать анархизмъ, какъ свободу отъ содержаній и интересовъ. Какое дѣло личности до того, кто ей предшествовалъ, кто ее вскорилъ, кто будетъ ее лелеять въ старости. Свободная отъ долга, она не обязана вознаграждать за прошлое; свободная отъ интересовъ, она не обязана заботиться о будущемъ. Ея единственное благо—ея свобода, единственный законъ—ея эгоизмъ.

Впрочемъ, всѣ эти возраженія излишни, такъ какъ главное возраженіе противъ анархистской доктрины заключено въ ней самой. Анархический идеалъ, въ томъ видѣ, какъ онъ изложенъ у Штирнера и Нитцше, похожъ на выстроенный по невѣрнымъ вычисленіямъ воздушный шаръ, который никогда не полетитъ, несмотря на страстное желаніе изобрѣтателя летѣть. Этотъ основной порокъ вычисленія заключается въ томъ, что оба элемента, на которые разлагается анархический идеалъ, внутренно противорѣчивы, обезсиливаютъ одинъ другой, сводятъ на нѣтъ. Съ одной стороны, абсолютный эгоизмъ, какъ путь, съ другой,—абсолютная свобода, какъ цѣль. Но эгоизмъ ведетъ не къ свободѣ, а къ рабству, и полная свобода возможна лишь тогда, когда путь эгоизма покинутъ. Мы можемъ мыслить свободу отъ всякихъ содержаній, но безсодержательного эгоизма мыслить нельзя. Стоитъ внести въ понятіе эгоизма малѣйшее содержаніе, и окажется, что въ немъ

самомъ уже заключенъ моментъ чего-то внѣшняго, противорѣчашаго внутренней свободѣ. Штирнеръ самъ говорить о голодѣ эгоизма, но голодъ дѣлаетъ насть рабами тѣхъ благъ, которыя мы вождемъ. Эгоистъ не бываетъ вообще эгоистомъ, а эгоистомъ чего-нибудь внѣшняго, недостающаго личности. Единственный Штирнера хочетъ относиться къ человѣку, какъ къ соли и рыбѣ, т. е. къ пищѣ. Но если анархическая свобода отъ государства не больше по объему, чѣмъ свобода желудка отъ пищи, то не долговѣчна она и не многаго стоитъ. Конечно, эгоистъ, порабощенный своимъ желаніямъ и внѣшнему миру, можетъ стремиться къ свободѣ, но къ свободѣ соціалистической, а не анархической, т.-е. не къ свободѣ отъ содержаній и интересовъ, а къ свободѣ отъ чужого насилия и гнета во имя своихъ личныхъ и классовыхъ интересовъ. Освободить личность отъ государства и въ то же время оставить на ней цѣпи абсолютнаго эгоизма, все равно, что повалить столбъ, къ которому прикованъ узникъ и сказать ему: теперь ты свободенъ, ступай, танца за собой и цѣпи, и столбъ.

Безодержательность опредѣленій и противорѣчія основныхъ началъ до того лежатъ на поверхности анархизма, что были замѣчены всѣми критиками этой доктрины, и въ особенности ея принципіальными противниками—соціалистами разныхъ оттѣнковъ. По своему обыкновенію, соціаль-демократы объясняютъ противорѣчія Штирнера тѣмъ, что онъ „въ сущности“ буржуа. По словамъ Плеханова, „устами Штирнера говорить душа производителя товаровъ. Если Штирнеръ не довolenъ государствомъ, то потому, что государство, по его мнѣнію, недостаточно уважаетъ собственность производителя товаровъ. Онъ хочетъ владѣть своеї собственностью, всей своей собственностью“. По отзыву Переса, „поскольку эгоистъ Штирнера носитъ человѣческий образъ, онъ пред-

ставляетъ лишь идеологическое отраженіе члена буржуазнаго общества, покоющагося на конкурренції“. Бернштейнъ идетъ дальше и всю доктрину Штирнера объявляеть пустою игрою словъ. „Гдѣ, — восклицаетъ онъ, — можно найти теперь отдѣльную личность, кроме какъ въ сумасшедшемъ домѣ!“ Человѣкъ 19-го вѣка только въ своемъ воображеніи можетъ быть отдѣльнымъ, въ действительности онъ также не бываетъ абсолютно отдѣльнымъ, какъ и абсолютно свободнымъ“. Самый рѣзкій приговоръ произноситъ Энгельсъ, объявляя все изслѣдованіе Штирнера какимъ-то курьезомъ и упирающимъ въ стѣну.

Мы видѣли, что эти упреки скрываютъ въ себѣ много справедливаго. Но изъ-за невѣрныхъ определеній и противорѣчій называть анархизмъ бредомъ сумасшедшаго, курьезомъ или вообще основнымъ заблужденіемъ значитъ изъ-за деревьевъ не видѣть лѣса. Изъ всѣхъ учений современности анархизмъ одно изъ самыхъ глубокихъ и жизненно-сильныхъ. Если-бы идеи Штирнера и Нитцше были бредомъ и курьезомъ, то пришлось бы признать сумасшедшой половину культурнаго человѣчества, всѣхъ тѣхъ, кого эти безумныя идеи зажигаютъ или смущаютъ. Если онѣ—бредъ сумасшедшаго, то откуда тогда ихъ магическая сила, ихъ соблазняющее могущество? Почему безуміе и курьезъ такъ сильно приковываютъ къ себѣ вниманіе благоразумныхъ, приводятъ ихъ въ такое негодованіе, заставляютъ ихъ такъ рѣзко спорить? Вѣдь, обыкновенно курьезъ самъ себя убиваетъ и идеи, выходящія изъ сумасшедшихъ домовъ, не рождаются великихъ идеиныхъ конфликтовъ.

Всякій, кто безъ партійной предубѣждennости прислушивался къ рѣчи Штирнера и Нитцше, знаетъ по собственному опыту, какими острыми мечами эта рѣчь уязвляетъ сознаніе и чувство. Что въ учениі Штирнера скрыта великая истина,

нѣть сомнѣнія, но что онъ самъ этой истины не сознавалъ, тоже несомнѣнно. Не онъ владѣлъ ею, но она, будучи по своему происхожденію интуитивно-волевою, владѣла имъ. Въ его словахъ мы слышимъ крики рождающейся истины, черты которой были ему такъ же мало извѣстны, какъ мать не знаетъ въ лицо ребенка, котораго въ мукахъ рождается. Для того, чтобы увидѣть истину Штирнера, нужно отойти отъ его словъ, взглянуть на его истину съ другого пункта, чѣмъ онъ самъ на нее глядѣлъ.

Анархизмъ, какъ и соціализмъ, отрекся отъ философіи для чистой эмпирики. Однако, на почвѣ эмпирики конфликтъ между ними остается неразрѣшеннымъ и ни къ чemu, кромѣ рѣзкой браны, не привель. Вопросъ о коренной двойственности, въ которой обѣ доктрины расходятся, такъ и остался безъ отвѣта. Но какъ минусъ на минусъ даетъ плюсъ, такъ столкновеніе двухъ доктринъ, отрицающихъ философію, приводить насъ къ необходимости вернуться къ методамъ философіи. Чтобы понять столкновеніе двухъ истинъ, нужно подняться на высоту, равно господствующую надъ обѣими. А другой такой высоты нѣтъ, кромѣ философіи, науки, изслѣдующей вѣчные законы духа. Попытку въ этомъ отношеніи, по моему неудачную, сдѣлалъ Башъ, который сводить анархизмъ къ ученію Лейбница о монадахъ, въ послѣднее время воскрешенному французскимъ философомъ Ренувье, въ его „Новой монадологии“. Ученіе о монадахъ требуетъ признанія предустановленной гармоніи міра, что ни въ коемъ случаѣ не примѣнимо къ такимъ анархистамъ, какъ Штирнеръ и Нитцше, которые, по словамъ же Баша, „исходятъ изъ всеобщей дисгармоніи и къ ней приходятъ, подчеркивая съ крайней энергией неистребимое неравенство людей“. Монадологія имѣеть нѣкоторыя точки касанія съ буржуазнымъ либерализмомъ и съ идеями Бакунина и Кропот-

кина, которыхъ Башъ, вслѣдъ за Дитцелемъ и Зиммелемъ, неправильно причисляетъ къ анархистамъ, но не съ подлиннымъ анархизмомъ и соціализмомъ.

Мнѣ кажется, что конфликтъ двухъ соціально-нравственныхъ доктринъ можетъ быть освѣщенъ и примиренъ не въ монизмѣ и не въ дуализмѣ, а въ мэоническомъ ученіи о нравственномъ единстве.

H. Минскій.

* * *

Огненный отблескъ заката
Глянулъ сквозь черень стволовъ.
Снова ищу я возврата
Цѣпи мелькающихъ словъ.

Помню я часъ предзакатный,
Красныя волны вдали,
На морѣ черныя пятна,
Контуры дальней земли.

Вечеръ послѣдній прощальный:
Завтра родная земля.
Словно напѣвъ погребальный
Всплески о бортъ корабля.

Въ быстромелькающей смѣнѣ
Мысли, слова—какъ кошмаръ.
На морѣ черныя тѣни
Гасятъ закатный пожаръ.

Alexander.

Скука.

Словно отблескъ давней были
Отразился въ зеркала.
Волны прошлаго омыли
Утомленная тѣла.

Мертвой жизни скученъ волокъ,
Мутны тѣни блѣдныхъ словъ,
День мучителенъ и долгъ
Подъ напѣвъ колоколовъ.

Жизнь едва скользитъ устало,
Однозвученъ каждый мигъ.
Изъ-за темнаго забрала
Скука кажетъ мертвый ликъ.

Alexander.

Горе.

Посв. З. И. Рудь.

Казалось, смерть обвѣнчала ихъ. Такъ робки стали наши рѣчи о томъ, что она не любила его и чувствовала къ нему тяжелое, доходившее до тошноты отвращеніе. Въ пятницу утромъ онъ пришелъ къ ней и убилъ ее и себя. Теперь этотъ несчастный и одинокій человѣкъ, котораго мы всѣ презирали за его нечистоплотную и безстыдную ревность, сталъ намъ казаться сильнымъ и мудрымъ, ибо смерть удалась ему. И когда, похоронивъ ихъ рядомъ, мы пришли потомъ въ ея квар-

тиру, гдѣ еще были завѣшаны зеркала, стояль беспорядокъ и растерявшаяся прислуга незнала, кого ей слушаться,—намъ уже хотѣлось думать, что когда-то она любила его, хотя на самомъ дѣлѣ она не любила его никогда. Подъ знакомымъ абажуромъ, въ комнатѣ, гдѣ еще витала ея изящная и больная душа, мы стали вспоминать всѣ перипетии этой страшной любви. Вспоминали, какъ, въ морозный вечеръ на бульварѣ, онъ обнималъ ея ноги и плакалъ. Вспоминали, какъ онъ неудачно стрѣлялся въ прошломъ году. Говорили, что онъ уже больше не могъ работать, и недописанную диссертацию, съ отмѣтками Байера, отдалъ Терехову, а тотъ дѣвалъ ее, неизвѣстно куда. А Котомкинъ вспомнилъ, что у него еще должны быть стихотворенія, которыхъ тоже можно было бы напечатать, но никто не зналъ, гдѣ они... И всѣ говорили, говорили долго и много, перебивали другъ-друга, и никто не смѣлъ нарушить молчаниемъ безконечной цѣпи воспоминаній. Я сидѣль на своемъ старомъ мѣстѣ, въ этомъ темномъ углу между роялью, диваномъ и этажеркой, и тоже говорилъ что-то, но уже не помню, что...

И странно: мнѣ вспоминалось все самое смѣшное въ моей жизни, и до боли хотѣлось смѣяться. Я вспоминаль, какой онъ былъ до смѣшного некрасивый: его звали „кувшиннымъ рыломъ“. Какъ смѣшно онъ любилъ ее. Какъ смѣшно онъ ходилъ, смѣялся, рассказывалъ анекдоты и всегда забывалъ ихъ конецъ. И даже эти анекдоты припомнились мнѣ, смѣшные и глупые. Я кусаль себѣ губы, чтобы не разсмѣяться и страдальчески кривилъ ротъ. Они всѣ видѣли мои страданія и принимали ихъ за настоящія, такъ какъ знали, что я тоже несчастенъ и тоже нелюбимъ. Но въ руди у меня наросталъ и ширился хохотъ, подступалъ къ горлу, и я уже смѣялся беззвучнымъ, внутреннимъ смѣхомъ.

Котомкинъ сказалъ: „Душа ея взята Богомъ и святыми его ангелами. Ея жизнь въ послѣднее время была сплошнымъ адомъ. Вы помните старца Зосиму у Достоевскаго; вы помните у него: „Что есть адъ? Мыслю: страданіе о томъ, чего нельзя любить“. Она страдала—говорю вамъ. Страдала отъ невозможности любить его. Онъ являлся къ ней утромъ и уходилъ только вечеромъ, когда являлись мы. На колѣняхъ передъ ней онъ использовалъ всю эту комнату. И когда я случайно приходилъ слишкомъ рано, я заставалъ его въ полуобморочномъ состояніи; она отпаивала его водой... И Квасковъ продолжалъ: „Бѣдный онъ, бѣдный“... Онъ говорилъ мнѣ, бывало: „Клянусь тебѣ, мнѣ ничего не надо. Мои руки протягиваются къ ея душѣ“. Но я видѣлъ, что онъ тѣлесно жестоко страдалъ. Каждый уголокъ ея тѣла дразнилъ и раздражалъ его... „Эта подробность,—сказалъ Брагинъ,—вы помните, что кофточка ея растегнута и даже не обожжена выстрѣломъ, эта подробность кажется мнѣ болѣе страшной, чѣмъ самый фактъ ея смерти. Значитъ, она видѣла сама, что другого исхода нѣтъ. И она разстегнулась сама и сказала: убивай. И за минуту передъ смертью, убивая ее, онъ увидѣлъ эту дорогую грудь, которую такъ любилъ“...

Они все говорили, говорили безъ конца...

А хохотъ клокоталъ во мнѣ и мощно просился на волю. И чѣмъ больше они говорили, тѣмъ сильнѣй содрогался я отъ колючаго хохота, и каждое ихъ слово казалось мнѣ все смѣшнѣй и смѣшинѣй. Мнѣ хотѣлось выбѣжать въ комнату рядомъ, чтобы залиться тамъ безумнымъ, неудержимымъ хохотомъ; но я сидѣлъ въ далекомъ углу и невозможно было выйти незамѣченнымъ. И я ждалъ покорно: вотъ, вотъ сейчасъ... И выдумывалъ объясненія и предлоги, одинъ другого безсмысленнѣй. И тогда вспомнилось мнѣ то, что я

однажды прочелъ у Анатоля Франса. Въ провинциальномъ городкѣ умираетъ каскадная пѣвица, которую всѣ любили за ея веселый нравъ. Она пѣла всего одну шансонетку, похабную до идиотизма:

Je casse les noisettes en m'asseyant d'ssus.

И когда о ея смерти сообщили добруму и однокому М. Бержерѣ, онъ вспомнилъ эти глупыя слова и разсмѣялся. Ихъ вспомнилъ и я, и чудовищный грязный кошмаръ овладѣлъ мной. Противная дробная судорога какъ-бы пронзила меня. Я сталъ хохотать и хохоталъ, хохоталъ, какъ будто-бы тысяча демоновъ щекотала меня. И въ судорогѣ хохота я видѣлъ Котомкина: бездушный и мертвый ужасъ неизбѣжности застылъ на его лицѣ.

Сегодня я сижу у него. Тихій свѣтъ, тихая комната и Андрей, нѣжный и ласковый, какъ сестра. Когда я начинаю плакать, онъ прижимаетъ меня къ своей теплой груди, говорить мнѣ добрыя слова утѣшенія. О, дорогой!..

...И онъ продолжаетъ: „О смерти надо думать стихами. Такими вотъ чудесными и примиряющими, какъ эти:

C'est un ange qui tient dans ses doigts magnétiques

Le sommeil et le don des rêves extatiques
Et qui refait le lit des gens pauvres et nus“.

Онъ останавливается, обращаетъ ко мнѣ свое свѣтлое лицо и повторяетъ:

Et qui refait le lit des gens pauvres et nus.

Я смотрю на него, смотрю на его бѣдную кровать подъ коричневымъ байковымъ одѣяломъ и мнѣ начинаетъ казаться на самомъ дѣлѣ, что небесный ангель, съ бѣлыми, милыми крыльями, неслышно оправляетъ ее и тихо шепчетъ:

— Усни...

И я говорю Котомкину: нѣтъ. Я не думаю о

смерти, Андрей. Въ душѣ у меня живетъ надежда: она придетъ. Я жду ее и буду ждать еще долго. Можетъ быть, цѣлые годы пройдутъ... Но вѣра останется жива: она придетъ. Придетъ обремененная и усталая отъ жизни, отъ любви другихъ и—о горе—отъ своей любви. Тогда я обвѣю ее тихой лаской, упокою ее и такъ же скажу: Усни... Усни...

Мои глаза снова начинаютъ слезиться и плачутъ. И Котомкинъ снова береть мою голову, прижимаетъ ее къ себѣ и мягкой рукою проводить по волосамъ. Какъ будто хочетъ сказать:

— Не думай. Не надо думать...

Борисъ Койранский.

Демоны поэтовъ.

І. КРУГЪ ДЕМОНОВЪ.

Я—поэтъ, и я хочу говорить о поэтахъ. Точнѣе—о ихъ демонахъ.

Демоновъ, конечно, нѣть. Что же, можетъ быть, нѣть и поэтовъ? Нѣть ли, есть ли—все равно. Значимо только то, что я хочу говорить объ этихъ предметахъ.

Поэтъ, говорящій о поэтахъ, находится въ исключительно-счастливыхъ условіяхъ. По своей поэту пріятной способности всему удивляться, всѣмъ восхищаться и вдохновляться всяческими явленіями жизни, поэтическія произведенія, которая поэтъ читаетъ, производятъ на него обаятельное, волнующее впечатлѣніе. Чужие стихи для поэта или совсѣмъ мертвы, вовсе не существуютъ, или волнуютъ и трогаютъ его чрезвы-

чайно. Человѣкъ, способный приходить въ восхищеніе передъ мертвомъ играющими въ атмосферѣ демонами воздуха и пыли, онъ ли зѣвнетъ надъ прекрасною поэмой? Онъ ли почтитъ равнодушною хвалою игру творящаго духа, хотя бы то былъ и „мелкій бѣсь“, изъ самыхъ нечиновныхъ?

Понять каждую гримасу, подмѣтить всѣ эти легкія дрожанія въ уголкахъ губъ, каждый бѣглый, мгновенный огонекъ отразить въ себѣ, подъ самую послѣднюю заглянуть личину—это наслажденіе очень изысканное, за которое каждый изъ насъ такъ благодаренъ другому поэту.

Наслажденіе очень изысканное, хотя и очень опасное. Стрѣла летить иногда и дальше цѣли,—слишкомъ тонко выпрядаемая нить слишкомъ рано рвется между пальцами внезапно дрогнувшей пряхи,—медъ до-излиха сладкій въ горькое претворяется вдругъ яство.

Слишкомъ глубокое пониманіе собираетъ сокровища, которыхъ никто не расточалъ, и жнетъ пшеницу, никѣмъ не посѣянную, радуя лукавыхъ, которые всегда смируются надъ человѣкомъ.

Поэтъ—вдохновенный творецъ, чародѣй и мечтатель. Вотъ открываетъ онъ чужую книгу и ворожить надъ нею.

Скатерть-самобранка, разстилайся предо мною,—угости меня дивною трапезою. Я хочу тонкихъ винъ и благоуханныхъ снѣдей.

И раскрывается,—и уставленъ столъ.

Насыщенъ и пьянъ встаю изъ-за дивнаго пира, и томно кружится голова,—и погано хихикаеть одинъ изъ лукавыхъ, и шепчетъ вкрадчиво и злобно:

— Пепель и угли—твои снѣди, болотною ржавчиною краснѣеть вино твое, смрадные черепки—сосуды, изящностью которыхъ прельщался ты.

Посмотри,—онъ правъ, лукавый.

Ну такъ что же! Правъ и ты, поэтъ. Ты наслажденіе

дился,—и усладительныхъ миговъ никто не отниметь отъ тебя.

Вотъ было для тебя творчес во иного поэта океаномъ, переплеснувшимъ переплескъ вольныхъ волнъ черезъ черную черту береговъ. Ты прошелъ надъ океаномъ, шагами измѣриль ты неизмѣримую ширину его, вершками исчислиль ты его глубину,—но не стыдись восторженныхъ похвалъ: не ты ли былъ солнцемъ, отразившимъ свой ликъ въ океанѣ?

Хвала—дѣло поэта, восторгъ—его правда.

Экстазы поэта достойнѣе, чѣмъ приидрчивыя истолкованія критика.

Не было такого времени въ Россіи, когда критика не совершила бы позорного дѣла охуленія литературныхъ славъ. Русскіе критики достигли того, что въ представлениі русскихъ людей, столь еще простодушныхъ, самое слово „kritika“ стало равнозначущимъ со словомъ „брань“. Любители презрительныхъ выраженій съ восторгомъ читали и читаютъ критическая статьи, гдѣ творческій трудъ и свѣтлое вдохновеніе поэтовъ расцѣнивались и расцѣниваются съ грубою развязностью, какъ дѣло глупое и позорное.

„Услышать судъ глупца и смѣхъ толпы холода...“

„Какое дѣло намъ, страдалъ ты или нѣтъ...“

Читаю статью Єїлинскаго, искреннѣйшаго изъ русскихъ критиковъ, о поэзіи геніального Баратынского. Какая тупость! Какое чистосердечное нежеланіе понять.

Но что же? Примѣры неисчислимы...

И въ наши дни, кто изъ нынѣ живущихъ критиковъ не имѣть въ своей литературной карьерѣ большаго или меньшаго числа оплеванныхъ имъ поэтовъ, имена которыхъ онъ и самъ произноситъ теперь не безъ уваженія?

И вѣнцы надѣвали иногда критика—или запоздалые, или неправые...

Такъ было и бываетъ потому, что критикъ ко всякому литературному явленію подходитъ съ кодексомъ правилъ, заранѣе изготовленныхъ. И все живое въ поэзіи вылѣзаетъ за рамки этихъ правилъ.

Въ оцѣнкѣ поэтовъ простой читатель, ни поэтъ, ни критикъ, занимаетъ среднее мѣсто. Онъ не способенъ восторгаться красотами, которые еще должны быть исчарованы изъ мертвай груды словъ; онъ не способенъ понять того, что такъ глубоко скрыто подъ образами, того, чего поэтъ, можетъ быть, и не вкладывалъ въ свои образы, но что можетъ быть очень точно и вѣрно примышлено. Это суживается для него тотъ кругъ, внутри котораго лежитъ для поэтовъ прекрасное и мудрое.

Но читателю нѣтъ дѣла до педантически обоснованныхъ литературныхъ правилъ,—въ книгѣ онъ ищетъ не иллюстрацій для своихъ теорій, а непосредственного удовольствія. И приидрчивыя требования критика, и мечтательные восторги поэта замѣнены для него случайными склонностями и влечениями, порожденіями его случайныхъ переживаний. Если и онъ иногда беретъ въ свои руки, для забавы или для глубокомыслия, ржавый желѣзный шаблонъ критика, онъ накидываетъ эту игрушку на что попало и какъ попало. И похвалы и порицанія его неожиданны и странны. Громкою славою вѣнчаетъ онъ тупого графомана, сдѣлавшаго своимъ прибыльнымъ ремесломъ простиуированіе высокаго искусства, и равнодушно проходитъ мимо Тютчева, мимо Баратынского, мимо Фета, мимо...

Изъ этого треугольника неправыхъ отношеній я хочу выйти. Восторгаться кѣмъ бы то ни было я не хочу,—пресытился я восторгами и умиленіемъ, и уже не хочу простосердечно вкушать лакомые угли и сладкій пепель.

„Самъ собою вдохновляюсь“,—
и съ меня этого довольно.

Хулою не оскорблю ничьего творческого вдохновенія. Все, что въ области поэзіи, для меня свято. Никакого канона не признаю, никакою теоріею не надавлю на живую ткань поэтическаго мечтанія.

Отъ случайностей же читательскаго вкуса избавятъ меня сами Демоны поэтовъ, которые уже предстоятъ мнѣ.

Широкимъ кругомъ стали они около меня, раздѣлили между собою весь мой горизонтъ и всю мою атмосферу, всю многоликую и многоголосную Иронію живого слова явили они мнѣ. И всякий являемый ими ликъ—точная истина, и всякий ихъ вонъ говоритъ: Да. Противорѣчива утверждаютъ они подлинность міра.

Чта же такое они сами?

Вся область поэтическаго творчества явственno дѣлится на двѣ части, тяготѣя къ одному или другому полюсу.

Одинъ полюсъ — лирическое забвеніе даннаго міра, отрицаніе его скучныхъ и скучныхъ двухъ береговъ, вѣчно текущей обыденности, и вѣчно возвращающейся ежедневности, вѣчное стремленіе къ тому, чего нѣтъ. Мечтою строятся дивные чертоги несбыточного, и для предваренія того, чего нѣтъ, сожигается огнемъ сладкаго пѣснотворчества все, что есть, что дано, что явлено. Всему, чѣмъ радуетъ жизнь, сказано нѣтъ.

Въ накуренной и заплеванной биргалкѣ сидить буржуа съ насандаленнымъ носомъ; передъ нимъ кружка пива и сосиски. Онъ куритъ вонючую сигару, слушаетъ пьяный гамъ и блаженствуетъ, витая въ золотомъ снѣ. Нектаръ передъ нимъ въ хрустальномъ бокалѣ, и амброзія на чеканномъ золотомъ блюдѣ, и голубой передъ нимъ вьется дымъ ароматнаго куренія. Самъ онъ молодъ и прекрасенъ, и золотыя кудри обрамляютъ его дивную голову. Онъ—поэтъ. Сидить онъ—и поетъ (сочиняетъ стихи). И чего нѣтъ въ его стихахъ!

„Воспѣваетъ, простодушный“...

„Поэтъ на лирѣ вдохновенnoй“...

„Несись душой превыше праха...

И ликамъ ангельскимъ внемли“...

„Иди ты въ міръ, да слышить онъ пророка,
Но въ мірѣ будь величественъ и святъ“...

Идетъ въ міръ на улицу, встрѣчаетъ дѣву
„съ улыбкой розовой, какъ молодого дня
за рошой первое сіянье“...

На взглядъ посторонняго и трезваго, это—просто грубая и неряшлива дѣвица... женщина... можетъ быть, небезпорочная... можетъ быть, совсѣмъ порочная. Но для лирика съ насандаленнымъ носомъ она—прелестная Дульцинея.

Вѣчный выразитель лирическаго отношенія къ міру, Донъ-Кихотъ зналъ, конечно, что Альдонса—только Альдонса, простая крестьянская дѣвица съ вульгарными привычками и узкимъ кругозоромъ ограниченного существа. Но на что же ему Альдонса? И что ему Альдонса? Альдонсы нѣтъ! Альдонсы не надо. Альдонса—нелѣпая случайность, мгновенный и мгновенно изживаемый капризъ пьянной Айсы. Альдонса—образъ, плѣнительный для ея деревенскихъ жениховъ, которымъ нужна работающая хозяйка. Донъ-Кихоту,—лирическому поэту,—ангелу, говорящему жизни вѣчное нѣтъ,—надо надъ мгновенною и случайною Альдонсою воздвигнуть иной, милый, вѣчный образъ. Данное въ грубомъ опыте дивно преображается,—и надъ грубою Альдонсою возрастаетъ вѣчно прекрасная Дульцинея Тобозская.

Грубому опыту сказано сжигающее нѣтъ, лирическимъ устремленiemъ дульцинируется міръ. Это—область Лирики, поэзіи, отрицающей міръ, свѣтлая область Дульцинеи.

„Отъ пламенѣющаго змѣя

Святыя прелести тая,

Ко мнѣ склонилась Дульцинея,—

Она моя, всегда моя“.

Въ эту область лирическаго Нѣтъ нынѣ я не

пойду. Эта область желанного, прекрасного, гармоничного искони была любимымъ мѣстомъ для прогулокъ всѣхъ добрыхъ и злыхъ критиковъ. Какія бы личины ни надѣвались поэтами на трудолюбивую и дебелую Альдонсу,—личины Афродиты или Медузы, Дѣвы Маріи или Астарты, Прекрасной Дамы или Вавилонской блудницы, доброй Лилиты или лукавой Евы, Татьяны или Земфиры, Тамары, дочери Гудала, или царицы Тамары,—всѣ эти внѣшнія, ярко и пестро размалеванныя личины давно и хорошо знакомы каждому школьнику.

Я же хочу быть покорнымъ до конца. Я влекусь нынѣ къ тому полюсу поэзіи, гдѣ вѣчное слышится да всякому высказыванію жизни. Не стану собирать въ одинъ плѣнительный образъ случайно-милыя черты,—не скажу:

— Нѣтъ, не козломъ пахнетъ твоя кожа, не лукомъ несетъ изъ твоего рта,—ты свѣжа и благоуханна, какъ саронская лілія, и дыханіе твое слаше духа кашмирскихъ розъ, и сама ты, Дульцина, прекраснѣйшая изъ женщинъ.

Но покорно признаю:

— Да, ты Альдонса.

Подойти покорно къ явленіямъ жизни, сказать всему Да, принять и утвердить до конца все являемое—дѣло великой трудности. На этомъ пути трудно пройти далеко, потому что его стережетъ Драконъ Вѣчнаго Противорѣчія.

Но познавшій великий законъ тождества совершенныхъ противоположностей неuboится дракона и безтрепетно вступить въ область вѣчной Ироніи.

Снимая покровъ за покровомъ, личину за личиной, Иронія открываетъ за покровами и личинами вѣчно-двойственный, вѣчно-противорѣчивый, всегда и на-вѣки искаженный ликъ. За ангельскимъ сладкогласіемъ поэтовъ, за образами ихъ золотого сна обличаетъ она сонмище уродливыхъ демоновъ...

Федоръ Соловьевъ.

О жестокости.

Съ дѣтскихъ дней я привыкъ, научаемый по-вседневной рѣчью, думать, и даже быть увѣреннымъ, что среди европейскихъ народовъ есть одинъ, который, несомнѣнно, первенствуетъ въ области чувства, именующагося жестокостью. Черная маска, кинжалъ, бархатъ и кровь, блѣдныя лица и шпаги, убийство, романтика. Ну, конечно, я говорю объ испанцахъ. Ихъ ревность, ихъ фанатизмъ! Кто объ этомъ не говорилъ съ доступнымъ краснорѣчіемъ, а чаще—косноязычно? И кто же не вѣдаетъ объ испанской инквизиціи, хотя инквизиція была, кажется, итальянскимъ изобрѣтеніемъ, получившимъ аппробацію болѣе или менѣе всѣхъ европейскихъ народовъ, межъ которыми испанцы были какъ разъ послѣдними, себѣ ее усвоившими. И потомъ—испанскіе сапоги! И испанскій бой быковъ. Хотя, конечно, нюренбергскій пыточный музей тоже весьма краснорѣчивъ, а всемирные бои пѣтуховъ, и охотничіи травли лѣсовъ Славянскихъ и Германскихъ и всяческихъ иныхъ записаны въ лѣтописяхъ жизни не лазурными, а красными буквами.

Но заглянемъ въ зеркало народной души, въ сферу народной мысли. Въ этихъ кристальностяхъ зряцій всегда увидѣть что-нибудь тайное. Беру 3-й томъ „Cantos Populares Espanoles“, Sevilla, 1883 („Испанскія Народныя Пѣсни“), и среди этихъ пѣсенъ, собранныхъ Франциско Родригесомъ Мариномъ, нахожу особый отдѣлъ „Odio“ („Ненависть“). Въ этихъ пѣсняхъ ненависти отражается вражда чувства усомнившагося, или отвернувшагося, или охладѣвшаго, или вознегодавшаго—словомъ всячески недоброжелательного. Перевожу нѣсколько этихъ маленькихъ быстрыхъ пѣсенокъ.

Съ глазъ моихъ долой сокройся,
Не хочу тебя я видѣть;
Ты мнѣ мерзостенъ, какъ мерзокъ
Смертный грѣхъ.
Я не хочу твоихъ хотѣній,
И не хочу тебя хотѣть,
Но чтобъ меня ты ненавидѣлъ,
Я бѣ ненавидѣла тебя.
Съ самой высокой стѣны
Пусть мой ненавистникъ падеть;
Если мужчина онъ, пусть разорвется,
Женщина, пусть въ бѣснованы умретъ.
Да восхочетъ Богъ, чтобъ всюду, всюду,
Гдѣ пять чувствъ твоихъ ты помѣщаешьъ,
Ты оплаченъ былъ въ твоемъ хотѣніи,
Какъ хотѣнью платишь моему.
Твои глаза да вырвѣтъ воронъ,
И сердце да пронзятъ орлы,
Да точатъ внутренности—змѣи,
За чувства, чтѣ въ тебѣ такъ злы.
На двери дома твоего
Моей я кровью начертить:
Нѣть срока, чтобы не истекъ,
Нѣть долга, чтобы не взысканъ былъ.

Не слишкомъ ли все это изящно—для жестокости? Это—вольная человѣческая душа. Тутъ нѣть судороги.

А посмотримъ, что намъ гласитъ русская народная пѣсня. Русскій народъ, въ его цѣломъ, говорить, христолюбивый. Народная пѣсня отражаетъ народныя свойства, душу цѣлаго народа, въ его расовомъ единствѣ, безъ какихъ-либо классовыхъ различій.

Беру „Великорусскія народныя пѣсни“, изданныя профессоромъ А. И. Соболевскимъ, и въ 3-мъ томѣ, посвященномъ пѣснямъ семейнымъ, на стр. 98-й читаю (Спб., 1897):

Кочеты запѣли, я сижу-таки, сижу;
Другіе запѣли, на разумъ не беру;

Третіи запѣли, заря занялась,
Заря занялась, я домой собралась.
Подхожу я ко широкому двору;
Деверь ходить по широкому двору.
Прялочку на лавочку, башмачки подъ кровать,
Башмачки подъ кровать, сама лягу на кровать.
Старый мужъ обижается,
Сѣдая борода поворачивается.
„Борони, жена, не теперь ли ты пришла?“—
— Старый мужъ, ты не бредиши ли?
Сѣдая борода, не во снѣ ли говоришь?
Я хочу вставать, хочу печку топить,
Хочу щи-кашу варить, тебя, старого, кор-
мить.—

Петельку на шейку накладывала,
Милому въ окошко конецъ подала.
Милый, потяни, душа-радость, помоги.
Старый захрапѣлъ, ровно спать захотѣлъ,
Зубы-то оскалилъ, будто смѣхъ одолѣлъ,
Глазами замигалъ, будто я хороша,
Въ ладоши захлопаль, будто тѣшится,
Ногами задрягалъ, будто бѣсится.

Рѣдкостныя строки, а и то еще замѣтимъ, что это пѣсня „хороводная“, и что, кромѣ первого и послѣдняго, каждый ея стихъ въ пѣніи повторяется.

Зубы-то оскалилъ, будто смѣхъ одолѣлъ,
Зу-убы-то оска-алилъ, будто смѣ-ѣхъ одо-
лѣ-ѣлъ.

Такъ нѣжно, такъ весело, такъ длительно, такъ сладостно, такъ ласково-любовно звучитъ повторность каждого стиха. Кто-то радуется, и радость свою такъ и сякъ перевертываетъ. Кто-то тѣшится, нѣжнымъ изяществомъ тѣшится, и никакъ, и никакъ не натѣшится.

Тутъ вырастаетъ ужасъ,—явное ощущеніе кошки, душающей мелкаго грызуна,—ощущеніе такъ же и борзыхъ собакъ, толпой напавшихъ на одну чужую, и тискающихъ ея бездыханное, но все

еще теплое, тѣло. Горе мелкому грызуну! Горе чужой собакѣ! Горе всѣмъ, кто живеть, горе всему, что чувствуеть, ибо одна жестокость всегда, неизмѣнно, рождаеть другую жестокость. И такъ до страшнаго срыва въ какую-то ненасытную пропасть.

Вы, быть можетъ, думаете, что эта пѣсня—случайный единственный бредъ какой-нибудь одиночной души? Нѣть. Эта пѣсня, съ различными видоизмѣненіями, гуляетъ по всей безмѣрной Россіи. Ея варіаціи, угрожающія ея разночтенія, записаны изслѣдователями въ Костромской губерніи и въ Олонецкой, въ Черниговской и Вятской, въ Уфимской губерніи и въ Донской области. Тутъ, очевидно, есть звукъ, говорящій отъ предѣла къ предѣлу. Мѣняется интонація, измѣняется степень изобрѣтательности, но звукъ идетъ и поетъ, и грозить.

Ты тяни, тяни, милой,
Потягай, дорогой.

Старое огужище не сорвется,
У старого шея не оторвется.

„Рукамъ-ногамъ забиль, будто чортъ задавилъ, еще лобъ залошилъ, глаза вытарашилъ“... „Ноги въ потолокъ, будто чортъ поволокъ“... „Языкъ высунулъ, ровно дражнится“... „Слюни распустиль, будто бѣсится“...

Временами, вмѣсто звѣрской грубости и упомінія элементарнымъ дьявольствомъ, издѣвающаяся рѣчь въ точномъ смыслѣ цвѣтиста и узорна.

„Пойдемъ, старый, погуляемъ,

„Сине море повидаемъ“.

Середь моря разцвѣль цвѣтикъ.

„Поди, старый, сорви цвѣтикъ“.

И старый неизбѣжно идетъ, мучимый Молодою мучитель. Старый идетъ,—и первый шагъ—по колѣни, второй—по горло, третій—какъ ключъ ко дну.

Я спрошу того, кто слушаетъ и слышитъ: не великій ли здѣсь, грозящій и растущій, ужасъ?

Не сдавливаетъ ли несправедливая жестокость, не сдавливаетъ ли неуступчивая слѣпота умирающаго старого—молодое горло, которое съ чудовищнымъ торжествомъ будетъ распѣвать пѣснь жестокости, послѣ того, какъ молодыя руки, вотъ еще безгрѣховныя, вотъ еще красиво-незапятнанныя, осквернятся страшной неизбѣжностью?

K. Бальмонтъ.

Изъ жизни.

Московскія газеты „Новости дня и вечера“ и „Почта Амура“ перепечатали цѣликомъ разсказъ Кузьмина „Письма дѣвицы Клары Вальмонъ къ Розалии Тютельмайеръ“, удостоенный первой преміи въ журналѣ „Золотое Руно“.

Въ М. Литер.-Худ. Кружкѣ состоялся Вечеръ Новаго Искусства. Въ литературной части выступали: А. Бѣлы, В. Высоцкій, С. Кречетовъ, А. Брюсовъ (Alexander), Эллісъ, П. Ивановъ. Вечеръ прошелъ довольно неудачно.

~ Андрей Бѣлы прочелъ двѣ лекціи: „Искусство будущаго“ и „О символизмѣ“.

Валерій Брюсовъ прочелъ публичную лекцію „Театръ будущаго“.

Вышелъ первый альманахъ К-ва „Оры“: „цвѣтникъ Оръ“, „Кошница первая“.

Леонидъ Андреевъ вернулся въ Россію.

Мы слышали, что М. А. Оленина-д'Альгеймъ предполагаетъ основать музыкальную школу для специальной подготовки концертныхъ пѣвцовъ. Мѣстомъ для школы будетъ выбрана Москва или Парижъ.

Осенью выйдетъ въ Москвѣ „Сборникъ пародий“ на современныхъ русскихъ писателей, за колѣгтивнымъ псевдонимомъ „Касьянъ Взнуздаевъ“.

Библіографія.

ФЕДОРЪ СОЛОГУБЪ. „Мелкій Бѣсъ“. Романъ. Из—во „Шиповникъ“. 1907. Ц. 1 р. 75 к.

Федоръ Сологубъ — одинокъ въ современной русской литературѣ. Вокругъ него нѣть учениковъ и нѣть школы. Онъ национально одиннадцать книгъ, но до сихъ поръ нѣть еще ни одной серьезной критической работы объ этомъ замѣчательномъ писателѣ. Я думаю, что такое странное отношеніе къ Сологубу объясняется не только малокультурностью нашего общества, но и трудностью темы Сологуба.

Тема Сологуба это онъ самъ, но это не толькъ индивидуализмъ и субъективизмъ, которые составляютъ сущность всякой лирики. Сологубъ утверждаетъ себя не психологически, а религіозно. Въ этомъ религіозномъ самоутвержденіи — сологубовская тайна, въ этомъ — таинство его поэзіи и въ этомъ — трудность его темы. Нелегко и страшно подойти, заглянуть въ глубину темной и холодной поэзіи Сологуба.

Все въ этомъ темномъ полѣ
Одной покорно волѣ.

Любить Сологуба — это значить любить его волю и бороться съ ней, понимать Сологуба — это значить колдовать-ворохитить вмѣстѣ съ нимъ. Но онъ всегда удаляется отъ иного взора:

Исхудалый и усталый,
Онъ идетъ одинъ въ пустыню,
Ищетъ, блѣдный и усталый,
Сокровенную святыню.

Кто будетъ обладать этой святыней, этимъ священнымъ сосудомъ съ муромъ?

Сологубъ окружень кольцомъ демоновъ. Надо перейти заклятую черту. Надо знать ему вѣдомыя заклятья. Но и за этой чергой — новая власть-сила противоборствуетъ, покрывая собой Сологуба. Это — сѣрая Недотыкомка. Она преслѣдуєтъ путника, какъ обезумѣвшая отъ ревности любовница; она влечится по камнямъ, призываю всѣхъ демоновъ на траурный пиръ; ея шопотъ-напѣвъ похожъ на причитанья-пѣсни сибирскихъ шамановъ, и сама она похожа на шамана или на шаманку, когда она въ черномъ своемъ экстазѣ разстилается во мракѣ таежной юрты.

Недотыкомка ужасна своей безформенностью. Ея природа характеризуется множественностью личинъ и отсутствиемъ лица: она не укладывается ни въ какія нормы и отрицаєтъ всякую гармонію. Недотыкомка — отвратительнѣйшая карикатура на агрегатизмъ и такъ называемый „мистический анархизмъ“.

Являясь многообразно, воплощается Недотыкомка и въ „Мелкомъ Бѣсѣ“. Передоновъ — какъ одно изъ тѣхъ животныхъ, о которыхъ повѣствуетъ евангелие: „Бѣсы, вышедши изъ человѣка, вошли въ свиней, и бросилось стадо съ крутизны въ озеро и потонуло“. Передоновъ уже не человѣкъ, и погибаетъ онъ не какъ человѣкъ: падаетъ, какъ бѣсноватое животное, въ темное озеро небытія.

Свиная личина Передонова явлена намъ, какъ знакъ, вѣщій:

„Окно брякнуло съ шумомъ; стекла, звеня, вылетѣли вонъ, и страшная свиня рожа выставилась, поводя очами, какъ будто спрашивая: „А что вы тутъ дѣлаете, добрые люди? (Гоголь).

Въ каждомъ произведении, воистину гениальному, есть своя магія, которая заставляетъ насъ отождествлять себя съ личиной, созданной художникомъ. Читая „Донъ-Кихота“, каждый говорить: я — Донъ-Кихотъ; читая „Гамлета“, тотъ же человѣкъ искренно повторяетъ: я — Гамлетъ. Такоже будуть говорить и уже говорять про Передонова: „мнѣ страшно: я — Передоновъ“.

Безумная тема „Мелкаго Бѣса“ не порабощаетъ автора: съ ледяной мудростью онъ куетъ совершенные художественные формы для своего романа. Мы находимъ въ романѣ изумительную по чистотѣ и яркости русскую рѣчь, крылатый стиль, стройность повѣствованія и великолѣпный сильный реализмъ.

Издана книжка нехудо. Интересна обложка М. В. Добужинского.

Георгій Чулковъ.

ПЬЕРЪ ЛУИСЪ—Пѣсни Билитисъ. Переводъ Ал. Кондратьевъ. С.-Петербургъ. 1907 г. Ц. 1 р.

Эта книга — радость для тѣхъ, кого коснулось роковое вѣянье темнаго Эроса, какъ тростинку пригибающаго порой человѣка къ землѣ, то ведущаго его скорбнымъ путемъ Голгоѳы, то осыпающаго золотистымъ сияніемъ счастья.

Непонятная, странная проблема пола мучительно овладѣла умами многихъ людей XX-го вѣка, заставила Пшибышевскаго, Л. Андреева, Гамсуну разрабатывать ее въ длинномъ рядѣ произведеній. Въ книжѣ Луиса она своеобразно и заманиво — красиво разрѣшается устами прекрасной Билитисъ — поэтессы VI вѣка. до Р. хр.

„Къ мукамъ влечеть насъ Эросъ“ восклицаетъ въ одномъ мѣстѣ Билитисъ, „но и къ свѣтлымъ весеннимъ радостямъ вѣдеть онъ“. И большинство страницъ этой книги говорить о тѣхъ многообразныхъ радостяхъ, которыми дарить Эросъ своихъ жертвъ.

„Когда рѣки подымутся до покрытыхъ снѣгомъ вершинъ; когда овесь и пшеницу станутъ сѣять въ подвижныя борозды моря;

„Когда сосны будутъ расти изъ озеръ, а водяныя лилии на скалахъ; когда почернѣеть солнце и луна упадетъ на траву,

„Тогда, но только тогда, я возьму другую любовницу и позабуду тебя, Билитисъ, душа моей жизни, сердце моего сердца“ („Клятва“).

Такъ говорить своей возлюбленной юноша 24 вѣка тому назадъ. Медленно, очаровательно, лепестокъ за лепесткомъ раскрывается исторія жизни женщины, вѣрнѣе, исторія любви, ибо вся жизнь этой женщины — любовь. Непонятные порывы, желаніе быть любимой, первое смущеніе отъ страстнаго взгляда и, наконецъ, первая искренность, стихійная любовь.

Вторая часть книги — „Митиленскія элегіи“ опьяняетъ новыми образами въ ихъ музыкальномъ ритмѣ.. То, о чёмъ „порядочные люди“ привыкли говорить шепоткомъ въ часы послѣднаго fat-piÃ©te, маскируя негодованіемъ свои завѣтныя, тайные привычки, здѣсь, въ рядѣ Митиленскихъ пѣсень, вырастаетъ въ симфонію звучныхъ словъ, яркихъ красокъ и рѣдкихъ образовъ. Изъ темнаго хаоса, непонятнаго для большинства и въ то

же время неизбежного, создается что-то колдующее, магическое, властное.

Пресловутую „лесбосскую любовь“, о которой все говорят съ ужасомъ, часто не зная даже, что такое она, надо понимать въ обстановкѣ и условіяхъ времени ея расцвѣта.

Правъ Пьеръ Луисъ, говоря въ предисловіи: „Въ обществѣ, гдѣ мужья ночью бываютъ такъ заняты виномъ и танцовщицами, женщины самою судьбою предназначены сближаться другъ съ другомъ и находить утѣшеніе въ своей отчужденности. Отсюда возникаетъ ихъ склонность къ той нѣжной влюбленности, которой древность дала имъ и которая заключала въ себѣ гораздо больше естественного влечения, чѣмъ порочной изобрѣтательности, какъ думали объ этомъ мужчины“.

Въ пріяной душной атмосфѣрѣ странной любви невольно вспоминаются наивная пѣсни первой части.

Дѣвушка боится, что кто-нибудь видѣлъ поцѣлуи.

— Кто насть видѣлъ? Ночь и луна.

И звѣзды и проблескъ зари... Луна, отражаясь въ озерѣ, рассказала о насть водѣ подъ плачущими ивами. А вода разсказала весну.

Весло разсказало ладью. Ладья разсказала рыбаку. Увы, увы! О, если бы это было все! Но рыбакъ разсказалъ женщинѣ.

Рыбакъ рассказалъ женщинѣ... Теперь отецъ мой, матеръ, сестры и вся Эллада узнаетъ объ этомъ. (Пѣсня).

Третья часть книги—Кипрскія стихотворенія—начинаются гимномъ Аstartѣ „Перворожденной, вѣчно плодоносящей, ночной, тихой, огнедышащей Пѣнѣ Морей“. Эта часть такъ интересна бытовыми картинами давно угасшей эпохи.

Передъ глазами вырисовывается видѣніе прекрасной античной жизни, когда на фонѣ вѣчно синаго моря въ лучахъ южного солнца алымъ цвѣткомъ распускалась любовь.

Переводъ этой изящно изданной книги выполненъ Ал. Кондратьевымъ безукоризненно. Не говоря о правильности текста, переводчикъ счастливо сохранилъ музыкальность размѣра оригинала и по этому большинство пѣсень Билились остаются и въ переводѣ прекрасными камеями.

Ник. Поярковъ.

ФЕДОРЪ СОЛОГУБЪ. „Истлѣвающія Личины“. Книга разсказовъ. Москва. 1907 годъ. Книгоиздательство „Грифъ“. Цѣна 1 рубль.

„Мы живемъ среди природы, которая вся насквозь проникнута стремлениемъ къ жизни. Тысячелѣтия тому назадъ волевая энергія природы была такъ велика, что возникли безчисленные разности жизни на землѣ. Теперь энергія природы принимаетъ иной характеръ: природа стремится не только къ бытію,—она стремится къ тому, чтобы осознать себя. Насъ окружаетъ страстное желаніе не только быть, но быть самимъ сознательнымъ,—быть человѣкомъ, и болѣе, чѣмъ человѣкомъ“.... такъ старается объяснить одинъ изъ персонажей Сологуба то, что совершается вокругъ насъ въ послѣдніе годы. Совершается вокругъ и значить виѣ насъ, или только внутри насъ, какъ эволюція нашего сознанія—утонченіе или разложеніе нашего воспринимающего аппарата—въ сущности безразлично. Согласимся даже съ людьми точного знанія, не будемъ спорить, что наступаетъ вѣкъ массоваго психоза и затемняется человѣческій разумъ, еще недавно

такъ гордо поклонившійся на прочной голубятнѣ позитивизма. Не хочется спускаться съ этой голубятни, куда не такъ легко было забраться. Не хочется, хотя, вѣдь, съ нея небо вовсе не кажется ближе, а кругозоръ, если и расширился, то всего на нѣсколько сажень. Не хочется, хотя ясно, что подниматься выше некуда. И все же не хочется. Быть можетъ... быть можетъ, земля ужъ вовсе не такъ тверда, какъ казалось раньше, когда строили голубятню. Зыблется земля и уходитъ изъ подъ ногъ.

„Было тихо, спокойно, не радостно и не грустно. Стѣны казались несокрушимыми“... и дальше все такъ просто: „Окно скрывалось за тяжелыми, темно-зелеными въ тонь обоями на стѣнахъ, только гораздо темнѣе ихъ занавѣсами. Обѣ двери, и большая, въ боковой стѣнѣ, и маленькая, въ глубинѣ кабинета, противъ окна, были крѣпко закрыты. Замкнуты“...

„Гуровъ сказалъ громко и равнодушно:

— Заклятіе стѣнъ.

И остановился. Но въ чёмъ же заклятіе? Забылъ слова. Или ихъ и не было?

Маленькие нежити, зыбкіе, сѣренѣкіе, плясали вокругъ маленькой книги съ мертвенно блѣдыми страницами и шелестинными голосочками повторяли:

— Наши стѣны крѣпки. Мы въ стѣнахъ. Не придетъ къ намъ цѣпкій виѣнній страхъ“.

Но онъ идетъ уже, ползетъ и завивается вокругъ душъ зыбающійся цѣпкій страхъ. „Умерло древнее заклятіе стѣнъ“.

Умерло, какъ всегда это случалось, въ самую казалось не-подходящую, напряженную, въ самую красочную и алѣющую горячей кровью минуту. Жизнь напряжена, какъ никогда. Мы наканунѣ, можетъ быть, мірового переворота. Идеали простые и свѣтлые, стремленія опредѣленныя и ясныя снова волнуютъ человѣчество, объединяютъ его подъ старыми славными знаменами, на которыхъ написаны вѣчно живыя слова. Пусть эти слова звучатъ теперь иначе и нѣсколько непривычно—не все ли равно, какъ они звучатъ. Но только и теперь, и раньше, когда они звучали *Liberté, fraternité, égalité*, и теперь и раньше и еще раньше, путемъ вѣчнаго повторенія мы подходимъ къ завѣтной мечтѣ, за которой свѣтится жизнь ясная и свѣтлая, простая, опредѣленная, гдѣ не будетъ мѣста ни страданью, ни болѣзни, ни даже психозамъ. И вотъ всегда въ эти роковые минуты, когда на міровомъ циферблатѣ стрѣлка приближается къ за-вѣтному сроку освобожденія, умираетъ старое заклятіе.

Говоря языками точными, въ эпохи широкихъ соціальныхъ и политическихъ переворотовъ, въ обществѣ усиливаются мисти-ческія течения. И обратно. Когда въ первые годы Сипягинскаго царствованія по землѣ нашей разлилась „миръ и тишина“, едава ли кто-нибудь, кроме нѣсколькихъ десятковъ фанатиковъ вѣриль въ возможность тѣхъ, уже историческихъ теперь событий, которыхъ наступили черезъ четыре—пять лѣтъ. Какъ разъ въ эти годы Соловьевъ заговорилъ объ Антихристѣ, народились декаденты и учение Ницше начало быстро просачиваться въ мирные головы чеховскихъ хмурыхъ людей. Черезъ пять лѣтъ возвѣглись баррикады и русскія пушки загрохотали на московскихъ улицахъ.

Но мы не привыкли вглядываться во внутренній смыслъ событій.

Мы не привыкли всматриваться въ тѣ непонятныя нити, ко-торыя связываютъ столь разнородныя явленія. А посмотрите, какъ жутко сплетаются эти нити:

„Какъ тихое дуновеніе легкаго вѣтра, мимо него прошелъ бѣлый мальчикъ, зыбкій, едва видимый. Открылась тайная въ стѣнѣ дверь. За нею—узкій, темный проходъ. И Пусторослевъ безъ колебанія пошелъ за мальчикомъ въ неизвѣстный путь...

Были тогда беспокойные дни. Рабочіе голодали, не шли на работы. Было много солдатъ и казаковъ. Иногда на улицахъ убивали".

Или вотъ Елкичъ... Срубили елку. Прошло Рождество. А онъ ходить по комнатамъ и ноеть, скучить... Тревожно маленькому Симѣ, шепнула:

— Миленький Елкичъ, почему же тебѣ у насъ не нравится? Мы всѣ—добрѣ... Помолчаль Елкичъ сказалъ сердито:

— Иди завтра на улицу,—самъ увидишь".

Утромъ мальчики, какъ всегда, пошли гулять съ фрейлейнъ... Старшій Симочкинъ братъ пробѣжалъ мимо. — „Фрейлейнъ,—крикнулъ онъ на ходу,—ведите дѣтей домой... „Бѣги за братомъ,—быстро шепталъ Елкичъ,—брось нѣмку, бѣги за братомъ. Его сейчастъ убываютъ солдаты".

И потомъ опять все просто, обычно: наклонились штыки, залпъ... „Земля заколебалась, поднялась, камни подъ снѣгомъ холодной мостовой прижались къ Симочкину лицу. Короткій мигъ было очень болѣно. И потомъ стало легко и пріятно".

Тревожная книга. Странная. Неодолимо влекущая. Раскроешь ее и нѣтъ силь оторваться, пока не дочитаешь до конца. И потомъ еще и еще перевертываешь эти страницы. Вчитываясь и все новое находишь въ этихъ простыхъ, черезъ чуръ простыхъ словахъ. Такъ просто можетъ говорить только очень большой художникъ, и, конечно, Сологубъ одинъ изъ величайшихъ, если не величайший стилистъ современной русской литературы. И все-таки, когда откладывашь эту книгу, чтобы завтра снова взять ее въ руки, думаешь вовсе не о стилѣ, даже не о литературѣ... Думаешь о томъ, что нѣчто странное происходитъ вокругъ или въ нашемъ сознаніи—не все ли равно? Въ иной плоскости начинаемъ мы воспринимать явленія, и необычень наклонъ ея.

Странная книга.

Борисъ Группильонъ.

ГЕОРГІЙ ЧУЛКОВЪ. Тайга. Драма. К-во Оры. Спб.
1907. 40 к.

Новымъ русскимъ искусствомъ менѣе всего создано въ области драмы. Въ сущности, новой драмы у насъ нѣтъ. Послѣднее время много говорятъ и пишутъ о новомъ театрѣ. Но и здѣсь больше теоретическихъ размышеній, чѣмъ творчества и осуществленія. И тѣмъ менѣе въ нихъ цѣнности, что достаточно ясна полная неспособность теоріи искусства направить или соразмѣрить творчество.

Вполнѣ отчетливо слышенъ призывъ все къ болѣе и болѣе властному преодолѣнію быта. Но невѣдома еще самая форма, въ которую выльется это возсозданіе театра, возведеніе его на ту высоту искусства, какъ религіи, куда взошла уже поэзія лирическая.

До сихъ поръ остаются лишь немногія и недостаточно увѣренныя попытки.

Къ числу такихъ попытокъ относится драма Чулкова. Отъ автора требовалась бы огромная напряженность мысли и слога, чтобы на 80 крохотныхъ страничкахъ осуществить тѣ огромные замыслы, которыми онъ задавался.

Подобная задача была выполнена до сихъ поръ лишь Гамсуномъ (влияніе котораго, между прочимъ, чувствуется въ „Тайгѣ").

Взять жизнь обнаженной отъ тѣхъ случайныхъ и многоцвѣтныхъ явленій, въ чешуй которыхъ она стоитъ передъ нами постоянно, намѣтить лишь нить послѣдней борьбы съ роковыми, темными силами Тайги, слѣпой страстью, холodomъ разума и любовью къ смерти, которая могутъ быть просвѣщены и побѣждены лишь жертвой и Солнцемъ Чуда—таковъ замыселъ.

И мы найдемъ въ пьесѣ отдѣльныя мѣста сильныя, проникнутыя трепетомъ этого единаго замысла.

Докторъ. „Я живу въ тайгѣ тринацать лѣтъ и не могу до сихъ поръ разгадать ее. И мнѣ кажется иногда, что весь смыслъ жизни, любви и горя—въ ней, только въ ней" (стр. 20).

Юрій. „Да тайга жива. Я приникаль ухомъ къ землѣ и слушалъ, какъ стучить таежное сердце. Темное, прекрасное сердце" (31).

И Любовь, невѣста Юрія, пріѣхавъ къ нему, уже не узнаетъ его, не узнаетъ своей любви, не думаетъ о немъ. Она ёдетъ „вдвоемъ съ тайгой".

И только потомъ поднимается въ порывѣ и ждѣтъ, „Тайга станетъ солнцемъ. Она сольется съ нимъ. Они будутъ вѣчно горѣть въ одномъ поцѣлуѣ, какъ влюбленные".

И случайно проходящій охотникъ говоритъ: „Старики—якуты сказываютъ, что будетъ время, когда всѣ научатся плясать подъ бубны. Тогда загорятся сердца и весь міръ горѣть въ веселомъ огнѣ".

Но таежная Сулусъ, жена доктора, полюбила Юрія и, полная темныхъ шаманскихъ силъ, уже предчувствуетъ гибель.

Докторъ. „Я живу съ тайгой тринацать лѣтъ. Пойму ли я ее когда-нибудь? Богъ знаетъ".

Сулусъ. „Поймешь—полюбишь—кровь прольешь" (21). Сулусъ погибає. „Я сольюсь съ землей. Я соединюсь съ Тайгой навѣкъ" (76).

Это намѣчено хорошо. Но автору не удалось пронизать всю драму завлекающими, роковыми нитями. Онъ не преодолѣлъ огромной опасности.

Сбросивъ съ души всѣ виѣніе красочные покровы, драматургъ приближается къ опасности схематизма, холодныхъ, разсудочныхъ словъ. Сглаживаются индивидуальности, и дѣйствующія лица дѣлаются марionетками въ рукахъ одной, во всемъ чувствуемой роковой силы. Но разъ такъ, то эта единая сила должна чуяться въ каждомъ движениѣ, должны протянуться тончайшія интимныя нити, чтобы чувствовать ее безъ подчеркиваній, скорѣе ощущать не въ словахъ, а за ними.

Или какая должна быть невѣроятная напряженность, чтобы поднять читателя до воспріятія самыхъ простыхъ словъ. Но остается холоднымъ, когда Любовь произносить наиболѣе значительныя для конечнаго смысла драмы слова: „спасеніе только въ жертвѣ: тогда — свобода". Почти безразличнымъ дидактизмомъ звучать они.

И невольно разсудочность раскалываетъ драму на куски удачныхъ мѣсть.

Б. Грифцовъ.

С. СЕРГЬЕВЪ-ЦЕНСКІЙ. Разсказы. Т. I. Книгоиздательство „Міръ Божій“. С.-Петербургъ. 1907 г. Ц. 1 р.

Сергьевъ-Ценский—большое, хорошее литературное обѣщаніе. Беспорное дарование, свѣжесть языка, душа настоящаго художника суютъ будущее. Но авторъ далеко еще не нашелъ себя. Въ прочетахъ художническихъ премовъ чувствуется еще не вполнѣ увѣренная, не вполнѣ твердая рука. Кажется, что даже въ самомъ выборѣ темъ нѣть еще истинной свободы. Разсказы „Убийство“ и „Батенька“ написаны, какъ дань времени, и ясно чувствуется, что не здѣсь, не на этомъ пути лежитъ обрѣтеніе самого себя. Много не своего, и притомъ досадно старого, взятаго изъ литературнаго арсенала, изъ склада заслуженныхъ и почетныхъ темъ, въ первой части книги, въ такихъ, напримѣръ, рассказахъ, какъ „Скука“ или „Погость“. Вѣдь такъ много разъ уже читали мы эту исторію проститутки Лизы, такъ много разъ говорили намъ о провинциальныхъ учительяхъ и учительницахъ, которые прежде „всей душой рвались куда-то изъ Никольского посада“, а теперь „осѣли и не рвались“, ибо „шестнадцать лѣтъ времени обрѣзали ихъ крылья и, наконецъ, обрѣзали все, до послѣдняго перышка“. И зачѣмъ при этомъ [выказывать такое неуваженіе къ читателю, подчуря его, положимъ, такой банальностью, какъ „эффектное“ заключеніе разсказа „Погость“.

Изъ литературныхъ вліяній, явно замѣтныхъ, Чехова и Леонида Андреева, вреднѣе всего сказывается вліяніе послѣдняго. Ну, кто же не согласится съ тѣмъ, что именно Леонидъ Андреевъ заставляетъ Сергея-Ценского писать такимъ стилемъ:

„Со дна его души поднялись плотные, сѣрыя, жужжащія мысли, похожія на рой пчель, сбитыхъ ливнемъ. Съ мокрыми нелетучими крыльями, но съ ядовитымъ жаломъ, онѣ всползали на вершину его души, гдѣ еще теплилось и свѣтилось что-то, и здѣсь тщательно тушили мокрыми крыльями все, что еще теплилось, и насквозь пронизывали острыми жалами все, что еще свѣтилось“. Или: „Въ высокія окна смотрѣла черная ночь и точила безысходную тоску изъ бездонныхъ глазъ“. А разсказъ „Молчальники“ цѣлкомъ выдержанъ въ андреевскихъ тонахъ и какимъ-то неожиданнымъ иноцѣвѣтымъ клиномъ выдается среди другихъ. А среди этихъ другихъ есть удачныя, цѣнныя вещи, и къ нимъ прежде всего надо отнести превосходный разсказъ „Садъ“. Чѣмъ-то свѣжими и молодыми вѣтъ отъ него, и, когда читаешь его, вѣришь всему: и тому, какъ волы „смотрѣли большими, ясными глазами изъ-подъ бѣлыхъ рѣсницъ, и было видно, что понимали (они) что-то простое и близкое“, и этимъ дикимъ, страшнымъ словамъ деревенской пѣсни:

Дунька капусту поѣла,
Танька разсоль попила,
А Лёнка въ аптеку побѣгла,
Отраву себѣ приняля;

И тому, что одного „бунтовщика“, Семена, драли, а другой, Онисимъ, „на этомъ бунту еще и десятку заработалъ“; и тому, что пишетъ Шевардинъ: „Вся земля вокругъ могла бы быть однимъ роскошнымъ садомъ, могла бы, но этого нѣть. Нѣть школъ, нѣть больницъ, нѣть красоты, нѣть смысла,—одно сплошное „нѣть“, вся жизнь одно живое отрицаніе, воплощенное въ неလѣпья избы, въ хмельный чадъ, въ кусокъ чернаго хлѣба, изъ котораго можно ковать ядра для пушекъ“. А гдѣ-то

горитъ солнечное „да“, и къ нему-то сквозь тѣрны нелѣпаго жизненнаго „нѣть“ ведеть насть сердце художника.

Книга Сергея-Ценского издана прекрасно, и цѣна ея крайне дешева.

Викторъ Стражесъ.

К. Д. БАЛЬМОНТЬ. „Злыя Чары“. Книга заклятій. Издание журнала „Золотое Руно“. Москва, 1906 г. ц. 1 р. 50 к.

Легко говорить обѣ этой книгѣ по первому впечатлѣнію: вспомнить о пламенной яркости „Будемъ, какъ Солнце“ и „Горящихъ Зданій“, вдохнуть о свѣтломъ семицѣвѣниѣ „Только любви“. Потомъ строго упомянуть о „Литургіи Красоты“ и поощрительно о „Фейныхъ Сказкахъ“ и, наконецъ, добраться до „Злыихъ Чаръ“. Говорить обѣ утомленіи Бальмонта, о томъ, что напрасно онъ „швырнуль въ окно“ тотъ талисманъ, который изъяснилъ поэту „искусство завладѣнія сердцами“, укорить за наивное народничанье съ его громоздкимъ арсеналомъ отцѣвѣвшихъ словъ

Тьма въ немъ, тьма въ немъ запоеть

(„Путь туда“)

или усложняется до такой изысканности, что поэты вмѣсто двухъ словъ развиваетъ цѣлую ленту ихъ

„Въ эту минуту умножилось въ мірѣ число поблѣднѣвшихъ людей“
(„Лихо“).

Конечно, не одни только упреки и придирики выпадутъ на долю новой книги Бальмонта. Есть въ ней стихотвореніе, поистинѣ, геніальное, сочетавшее глубинное вдохновеніе замысла съ кристальной чистотой формы. Я говорю о „Святомъ Георгіи“. Это одинъ изъ лучшихъ первозваныхъ въ вѣнца Бальмонта, сияющій новыми еще небывалыми лучами магического расцвѣта. Мѣстами и въ другихъ стихотвореніяхъ вспыхиваютъ строки, напоминающія о лучшихъ вдохновеніяхъ поэта изысканности русской медлительной рѣчи, о прежнемъ Бальмонте, сдѣлавшемъ русский стихъ такимъ многоцѣвѣтымъ, изгибнымъ и красочнымъ. Онъ снова находитъ такие тона и краски, бросаетъ такие штрихи, что передъ ними радостно останавливаешься. Говорить ли поэту о полночи:

Такъ бархатно. Какъ будто льнетъ во мнѣ

Беззвучное крыло летучей мыши“

Или о безотрадности сѣвернаго взморья:

„Здѣсь даже чайками даль не освѣтится“,

Всюду вы слышите художника, который воспринимаетъ окружающее съ той особенной вѣщей утонченностью, которая дана лишь немногимъ избраннымъ душамъ.

Но нападать, конечно, легче, и для такихъ придирокъ въ „Злыихъ Чарахъ“—широкое поле. Можно придириться еще мѣлочиѣ и обобщать еще эффектнѣе, морщиться отъ прозаизма такихъ стиховъ, какъ

„Намъ трупы животныхъ—услада для пира,
Тутъ нѣжная дѣва—безчувственный пень“

(„Оргія жизни“)

или снова и снова съ ехиднымъ удивленіемъ возвращаться къ

архаическому „славянофильству“ поэта и выискивать все новые промахи псевдонародного стиха.

Но еще легче и вовсе не раскрывать Бальмонтовой книги просто отмѣтивъ ея появление пятью, шестью строчками петита, упомянувъ при этомъ еще и о конфискації (снятой потомъ), и, приведя соотвѣтствующія статьи Уложенія.

О чёмъ еще говорить? Все давно извѣстно. Да и кто же въ наше время читаетъ литературныя рецензіи?

Ну, а теперь закройте глаза и слушайте:

„Я духъ, я призрачный набать,
Что виженъ только привидѣньямъ.
Дома, я чувствую, горять,
Но люди скованы забвеньемъ.
Крадется дымный къ нимъ огонь,
И всплемъ полонъ я безгласнымъ,

— — — — —
О, какъ мнѣ страшно быть нѣмымъ
Подъ мѣднымъ заревомъ пожара.“

Если для васть слова эти все еще обычны и мертвы, если они ничего еще не сказали вамъ, слушайте дальше:

„За столомъ круговымъ ликовалъ Сатана,
Пировали съ нимъ дикіе гости.
И была на землѣ тишина. И Луна
Серебрилась на мирномъ погостѣ.

— — — — —

Между тѣмъ въ высотѣ, тамъ, въ Лазури пустой...
Былъ дворецъ, небесамъ посвященный,
Въ томъ дворцѣ существо, чье название—Господь,
Окруженное ангельской свитой,
Предоставивъ Землѣ многогрѣшную плоть,
Пировало съ родней именитой...“

И это тоже только сказка, а la Эдгаръ По или Бодлеръ?
Вамъ все еще не страшно на цѣпенѣющей Землѣ, затерянной въ лазури пустой надъ хрустальнымъ потолкомъ катанинскаго зала?

Тогда переверните одну страницу назадъ и читайте: „Будь проклять Богъ! О все, что есть во мнѣ... Во имя дѣтской грэзы незабудокъ, и ласточекъ, ихъ нѣжныхъ бѣльихъ грудокъ, и англовъ, что видѣлъ я во снѣ... Во имя совершенныхъ преступлений... Ты, чье имя—Богъ, будь проклять, проклять...“

Манерное богохульство? И только? Тогда отложите эту книгу... если можете. Или читайте дальше, вглядывайтесь широко раскрывшимися глазами въ эти слова, затрепетавшія невѣдомыми, а, быть можетъ, только забытыми и отсвѣтами. Слушайте эту призрачный набатъ. Вздрогните, когда почувствуете вздохъ вѣтра и

„Тѣнь отъ травы иною ляжетъ,
Ниже глянетъ неба свѣтъ“.

Поэтъ, нѣкогда „спасенный странной помощью Незримыхъ“, уходившій къ ослѣпительному пламени, звавшій: „Будемъ, какъ Солнце“, онъ уже слышитъ нѣчто. Солнце, когда-то наполнившее міръ свѣтомъ и радостью, сдѣлалось только ничтожнымъ атомомъ вселенной, угасающимъ въ вѣчной Мглѣ. Опять вспоминаются откровенія древнѣйшей космогоніи человѣчества.

„Мы думаемъ, будто мы думаемъ, нами думаютъ вихри міровъ“ и зловѣще звучать старыя сказки маговъ о четырехъ расахъ, долженствующихъ смѣнить другъ друга на лицѣ Земли

(„Міровые Розы“). Воскресаютъ снова осмѣянныя, забытыя „сuevѣrія“ и, почти вѣруя, испуганно шепчеть поэты.

„Сколько воли въ снахъ камней“.

И развѣ случайность, что заговорилъ объ этомъ Бальмонтъ? Душа поэта—эолова арфа человѣчества. Она почувствовала неописуемое дыханіе и откликается ему вѣщими стонами. Мы слишкомъ долго были рационалистами. Слишкомъ долго все въ мірѣ было такъ просто и ясно. Теперь снова замкнулся магический кругъ. Времена исполнились, путемъ вѣчнаго возвращенія, человѣчество снова подходитъ къ эпохѣ откровеній и прозрѣнія. Думать, что все рѣшается кислородомъ съ одного полюса и церковностью общеутвержденного образца съ другого,—не видѣть того, что лежитъ между этими полюсами человѣческаго ослѣпленія,—значить воистину быть слѣпцами. Счастливы тѣ, кто могутъ быть слѣпцами. Не для нихъ написана эта Книга Заклятій.

Борисъ Группильонъ.

СЕРГІЙ СОЛОВЬЕВЪ. Цвѣты и ладанъ. Первая книга стиховъ. Въ Москвѣ 1907 года.

Открывается книга отдѣломъ „Маслина Галилеи“. Передъ взоромъ читателя пробѣгаѣтъ рядъ картинъ на религіозныя темы въ стилѣ итальянскихъ примитивовъ, въ великолѣпныхъ краскахъ. „Зари задрожавшія пятна“. Сѣрые камни пещеры. Искра золота. Цвѣтъ миндалевый. Золотомъ блещетъ на закатѣ пустая даль. Вѣсть вѣтеръ, и дерево плещетъ, беззвучно роняя миндалъ“. Здѣсь пейзажъ, говорящій о завѣтномъ, объ утраченномъ, какъ пейзажъ Леонардо, тамъ абрисъ св. Бернарда въ стилѣ Фра Беато, тамъ Джорджіоне. Тамъ роскошь убранства кватроцентистовъ. Дальше—родные образы деревни русской: „закатныи храмъ поетъ колоколами“ въ голубомъ атласѣ неба, могилы, фіалка синяя и розанъ алый. Русская природа взята такъ, какъ взяли бы ее итальянские прерафаэлиты. Но Сергій Соловьевъ внесъ въ эти простые образы ту сложность переживаний, которая ставить передъ нами проблемы религіи и гностики съ рѣжущей остротой. Этотъ покровъ успокоенности—золотой коверь неба—какъ нарочно набросанъ на прозрѣнія нашихъ дней. Такъ могъ писать человѣкъ, измученный Вл. Соловьевымъ, Мережковскимъ, Ницше. Сквозь тихій вздохъ склоненного передъ тайной Бернарда раздается пѣснь о страшномъ будущемъ. Но тайну не выдаетъ поэзія Сергія Соловьева: онъ боится подмѣны слѣпительныхъ образовъ будущаго глоссолаії темныхъ безднъ. Образы его—аполлиническій сонъ надъ бездной. Онъ не передастъ святость тайнъ словами, хотя бы и прекрасными.

Волны эоира, шелестъ осенняго багрянца—золотой, осенний смѣхъ грядущаго. Не успокоенность, не созерцаніе въ „Золотой осени“ (второй отдѣлъ), а сосредоточенное, напряженное ожиданіе послѣдняго поединка человѣчества съ рокомъ. Такъ можемъ мы писать только послѣ Ницше.

Полно, душа, не измѣривай
Тягость грядущаго дnia.
Тѣнь отъ зеленаго дерева
Ласково лижетъ меня.
Мигъ совершенного отдыха.

Гдѣ-то затеряна цѣль.
Теплого, синяго воздуха
Грѣть меня колыбель (стр. 52.)

Здѣсь вѣй послѣдній разъ авторъ стыдливо пріоткрываетъ передъ нами основу своихъ переживаній, чтобы надолго за-двинуться вѣхъ холодныхъ, кованыхъ образахъ.

Далѣе, рядъ посвященій и эпиграммъ (Silvae—третій отдѣлъ). Поэты, укрывшій завѣтныя цѣли свои, выражаетъ свое отношеніе къ окружающему. И какая изысканность вѣхъ ретори-ческихъ-прекрасныхъ обращеній къ Брюсову, Айседорѣ Дѣнканѣ и т. д. Какъ будто несваряетъ душа отъ восторговъ невѣдомыхъ и ожиданій несказанныхъ подъ свѣтской, нѣсколько холо-дной внимательностью къ окружающему.

И вотъ передъ нами античные образы вѣй отточенной мрамор-ной, а подчасъ бронзовой формѣ. Дионисическое опьяненіе закрыто: надъ темными волнами стихійности вырастаетъ золотой Аполлонъ, какъ будто вѣщающій намъ:

„Въ Дельфахъ мнѣ служить, покорны мнѣ Кларосъ, Патара и Тенедосъ“ (стр. 115).

Но Аполлонъ для Сергія Соловьева не символъ спа, а солнечный воинъ, сурово призывающій на послѣднюю борьбу. Здѣсь застываетъ строка у Сергія Соловьева, грузная, точно окованная мѣдно-бронзовыми доспѣхами. Тяжело звенѣть серія Ахилловъ и Неотоломовъ. Почти спартанская серіоз-ность слышится вѣй этомъ галопѣ риѳмы: точно проносится вѣ будущее тяжелая, боевая конница. А тамъ, съ моря слышень призывный крикъ Энея: „Паркамъ бросаю отчаянный вызовъ!..“

„Пѣсни“ (5-ый отдѣлъ). Золотой сонъ оскалился смѣхомъ—разорвался. Образы Олимпа оказались облаками, плывущими надъ родною страной: „Разлились снѣга, словно озеро. Высоко звенѣть вѣ нѣбѣ жавронокъ. Я—несчастная—жду дитя вѣ аппрѣль. Ты спаси меня отъ позора, ель! Сладко будеть мнѣ межъ вѣтвей дремать. Успокой же, ель, и дитя, и мать!“ Вѣ этомъ, трагическомъ плаче не только Кольцовъ: тутъ вспыхиваютъ искры будущей народной трагической мистеріи. Народъ является у Сергія Соловьева грядущей силой, вѣ которой сочтается и образы христіанства, и образы языческихъ сновъ вѣ цѣльномъ трагическомъ пути къ послѣдней цѣли. Отдѣлъ „Пѣсни“ срыва-ется богоподобный покровъ холода съ поэзіи Сергія Соловьева.

Книга оканчивается „Веснянками“, гдѣ примиряются сыны Ботичелли, міропредставленія древнихъ грековъ съ плачомъ горькимъ народа русскаго.

„Пѣсни“ и „Веснянки“—лучшіе отдѣлы книги. Слѣдую-щіе по достоинству „Silvae“ и „Золотая Смерть“. Сла-бѣе прочихъ отдѣлъ „Піэрійскія розы“.

Первое впечатлѣніе, производимое поэзіей Сергія Соловьева, заставляетъ отнести автора къ индивидуалистамъ - классикамъ. Болѣе внимательное изученіе ея не оставляетъ мнѣста сомнѣнію вѣ томъ, что Сергій Соловьевъ—поэтъ-трагикъ. Подъ золотыми образами древности вѣздѣ трагическая борьба; Сергій Соловьевъ не уступаетъ року: онъ не демонистъ, но нѣтъ вѣ немъ и успо-косности. Это скорѣе—суровый воинъ, обнажившій мечъ на Дракона, чтобы спасти Брунгильду—душу народную—отъ злыхъ силь. Сергій Соловьевъ—воинству идеть по стопамъ Ницше.

Съ величавымъ спокойствіемъ отдается онъ разрѣшенію труд-нѣйшихъ вопросовъ техники. Индивидуалисты болѣе раннаго периода потратили много силъ на борьбу съ рутиной вѣ искус-ствѣ. Сергій Соловьевъ не столько волнуетъ завоеваніе

правъ индивидуализма, сколько осуществленіе этихъ правъ. Для него стирается грань между старымъ и новымъ ис-кусствомъ вѣчномъ искусствѣ.

Поверхностное разсмотрѣніе Соловьева даетъ поводъ заключать о вліяніи на него В. Брюсова. Это неправда. Форма Брюсова вліяла на него лишь постольку, поскольку этотъ вели-кій поэтъ оживилъ для нашей эпохи безусловныя нормы твор-чества. Послѣ Брюсова намъ понятій и Пушкинъ, и Баратын-скій, и Шиллеръ и Виргиліева мѣдъ стиха (выраженіе С. Соловьева). И вотъ „Цвѣты и Ладанъ“ воскрешаетъ Ронсара, создавая изъ него что-то свое, родное, близкое вѣ „Пасторали“ (стр. 193):

На зарѣ у сонныхъ водъ,
Хороводъ,
Подъ напѣвы пѣсни древней,
Я люблю, когда закать
Стекла хать
Зажигаетъ вдоль деревни (стр. 194).

Изъ греческихъ размѣровъ Алкѣя и Сафо онъ создаетъ впервые отынѣ необходимую намъ форму.

Вотъ образецъ Алкѣя:

Я жрецъ твой, небо! Твой золотой потиръ,
Твое причастье я подношу къ устамъ,
И внемлю ухомъ ненастыннымъ
Шелесты травъ и ключей рожденье (стр. 218).

Вотъ образецъ сафического размѣра:

Ты, Валерій, Пушкина лиру подняль.
Долго вѣ прахѣ звонкая лира тѣла.
Въ пальцахъ ловкихъ вновь разсыпаетъ лира
Сладкіе звуки. (стр. 67).

Подчасъ Сергій Соловьевъ пользуется пріемами парнасцевъ для нужныхъ ему цѣлей. Но онъ не парнасецъ. Можетъ-ли тра-гикъ быть парнасцемъ? Вѣ умѣніи найти нужное ему вѣ раз-ныхъ школахъ я вижу не слабость, а силу, не порабощенность формой, а свободное овладѣніе ей. Перелистывая Цвѣты и Ладанъ, получаешь подарокъ за подаркомъ: звучать родные напѣвы, но по своему, по новому—здѣсь Баратынскій, тамъ Пуш-кинъ:

О, какъ я ожиданьемъ мучимъ,
О, какъ я жду минуты той,
Когда пройдешь съ ведромъ пѣвучимъ
Ты мимо сада за водой! (стр. 202).

Вѣ осколкахъ лучшаго прошлаго вызываетъ Сергій Соловьевъ напѣвъ лучшаго будущаго.

Форма стихотвореній Соловьева удовлетворяетъ самымъ стро-гимъ запросамъ техники. Риомы поражаютъ неожиданной новиз-ною и отсутствиемъ вымученности (пурпуровый—гарнитуровый, дерева—измѣривай, до краю—мокрая, склоны—анемоны, овѣ-янъ—Ахеянъ и т. д.). Строчка живѣтъ у Сергія Соловьева бур-ной жизнью. Когда онъ захочетъ, строки его будто нарочно тя-желѣютъ („Ахилль“), то скользятъ, какъ облака:

Разсвѣты травъ воздыхальные!
Свершаются таинства древнія.
Слыши изъ ближней деревни я
Дѣвушекъ пѣсни пасхальной (стр. 207).

Къ числу досадныхъ недостатковъ я не могу не отнести нѣкоторыхъ натяжекъ въ стихѣ. Сюда: 1) натяжки риомъ: ли ло ся — колеса и т. д. 2) натяжки въ разстановкѣ словъ: „скоро мы на богатствами полномъ, управляемомъ мной корабль“ и т. д. Такая разстановка словъ напоминаетъ фразы изъ ученическихъ переводовъ съ латинского. 3) Натяжки ударений: пѣребира лъ вмѣсто перебиралъ. Наконецъ совершенно недопустимо приводимое четверостишіе:

Во хоромахъ и
Во саду огонь.
И ч е р е м у х и
Спалены огнемъ (стр. 168).

Такъ вѣдь и къ Тредьяковскому придешь!

Иногда Сергій Соловьевъ кокетничаетъ холодомъ. Мы должны помнить, что это только пріемъ. Сокровенныя дерзновенія нео-декадентовъ и хаотистовъ вѣдомы Сергію Соловьеву. Но его не влечетъ постѣ громкихъ словъ о непрѣятіи міра, мистерій и т. п., „у копытца приложиться“, потому что мистерія слишкомъ жива въ его душѣ; она не превратилась для него въ литературный товаръ. И когда многоголосный хоръ эпигоновъ вопитъ о дерзновеніи, чудѣ, увлекаяна новыя твердыни,—изъ подъ строгихъ образовъ его поэзіи раздается предостереженіе: „Ваши твердыни—облачны!“

Соловьевъ о грядущемъ. Но къ этому грядущему онъ пойдетъ увѣренно и твердо. Онъ знаетъ отвѣтственность будущаго: оттого-то онъ молчитъ тамъ, где другіе радуются словамъ.

Пожелаемъ молодому поэту-воину блистательныхъ побѣдъ. Порадуемся и тому, что на нивахъ словесности взошло передъ нами новое, совершенно исключительное дарование.

Къ сборнику приложено вступительное слово поэта, представляющее значительный интерес: здѣсь поднимаются вопросы о формѣ первостепенной важности.

Книга издана въ стилѣ изданий начала девятнадцатаго столѣтія (до эпохи отечественной войны). Форматъ книги напоминаетъ форматы старинныхъ изданий.

Андрей Бѣлый.

ІОСИФЪ КАРЯКИНЪ. Исканія. Москва 907. Ц. 40 к.

Если считаться съ тѣмъ, чо э.. книжка—первенецъ автора, то можно принять ее съ радушнымъ привѣтомъ. Первенцы у нашихъ поэтовъ въ большинствѣ случаевъ бывають неудачными,—развѣ уже талантъ попадается изъ ряда воинъ выходящій.

Такого таланта у Карякина нѣть, а потому его сборникъ весьма не свободенъ отъ слабыхъ, ненужныхъ вещей, всякаго рода литературныхъ зависимостей, но за всѣмъ тѣмъ попадаются мѣста удачные, есть несомнѣнная музыкальность (хотя иногда—только отраженная), чувствуется душа живая и въ концѣ концовъ дающая все-таки свое.

... „Усну, смѣясь, въ живыхъ, узорныхъ звукахъ,
Одѣнусь свѣтлымъ днемъ“...

... „Серебристой росой окропился
Изъ хрустальной купели свѣтиль ...
... „Легкой запачканы пылью
Темного вечера риза“...

Въ этихъ кусочкахъ есть настоящая поэзія. Будемъ ждать ее и въ будущемъ.

Ал. Д-овъ.

ЮРІЙ ГОНЧАРЕНКО. Вечерніе огни. Спб. 1907. Ц. 1 р. 50 к.

Если искренность чувствъ является однимъ изъ самыхъ важныхъ достоинствъ поэта, то въ этомъ отношеніи пальма первенства безспорно принадлежитъ Юрію Гончаренко. Передъ читателемъ съ первыхъ же строкъ въ неотразимой мости встаетъ духовный обликъ этого до сихъ поръ неизвѣстнаго намъ поэта. Съ искренностью, подкупавшей даже самого суроваго критика, авторъ „Вечернихъ Огней“ рекомендуетъ себя читателю лейбъ-гвардіи Его Величества кирасиромъ. Кажется, что этого было бы вполнѣ достаточно, но г. Гончаренко этого мало, и уже на пятой страницѣ онъ спѣшилъ насъ увѣрить, что жизнь его протекла: „безъ вѣры въ чистоту и святотъ идеала“. Трудно не повѣрить такому чистосердечному признанію, но, видимо, идеаль все-таки былъ; вѣдь въ сумеркахъ нашихъ безотрадныхъ дней даже эскадроннымъ поэтомъ полагается имѣть свой идеаль. И вотъ, въ стихотвореніи, помѣченномъ незабвеннай отынѣ исторической датой $19\frac{12}{11}02$ г. Гончаренко смѣло посыпаетъ свой восторженный „привѣтъ изъ крайней правой“ „на (?) постъ завидны й командирскій“

„тому, кто былъ нашъ идеаль,
„Кто въ нась будиль живыя чувства,
„Кто намъ съ любовью завѣщаль
„Высокій образецъ и скучество... (?)“

Можеть быть, заключительныя слова этой строфы и мало понятны всѣмъ, непосвященнымъ въ высокое искусство работы мундштукомъ и трензельными поводьями при внезапной перемѣнѣ аллюра; но это и не важно; завидный идеаль показанъ читателю и притомъ во всемъ блескѣ кирасирскаго мундира.

Что среда, сплошь да рядомъ, не остается безъ вліянія на поэта,—стало ходячей истиной. Но рѣдко, где эта истинѣ выступала бы такъ ярко, такъ рельефно, какъ въ стихотвореніяхъ Юрія Гончаренко. Привыкшій со школьнай скамы къ ротнымъ и инымъ приказамъ, эскадронный Аполлонъ, не смущаясь, обращается даже къ Аллаху съ просьбой „издѣть всесильный приказъ тремъ невиннымъ (?) и скромнымъ (!) желаньямъ“; перечислять всѣ три пункта этого приказа будетъ слишкомъ скучно и утомительно; думаю, что достаточно познакомить читателя съ первыми двумя желаньями этого невиннаго стихотворенія, посвященнаго „киргизскихъ степей незабудкѣ“:

... Чтобы, во-первыхъ, смакуя кумысъ,
Пуда на два прибавиться въ тѣлѣ,—
Безъ сомнѣнья, тогда бы Парисъ
Отдалъ яблочко вамъ, въ самомъ дѣлѣ.

Во-вторыхъ, чтобы коварный казакъ
Не прельстиль васъ лампасомъ лазурнымъ,—
Берегитесь попасться въ просакъ,
Предаваясь забавамъ амурнымъ...

Чтобы покончить съ позѣй первой конно-гвардейской дивизіи намъ остается только упомянуть, что авторъ „Вечернихъ Огней“ чутъ ли не въ доброй половинѣ своихъ произведеній предается „забавамъ амурнымъ“. Мнѣ кажется, что г. Гончаренко явно страдаетъ если и не ясно выраженнымъ садизмомъ, то по меньшей мѣрѣ повышенной libido sexualis. Чтобы не быть голословнымъ, выписываю, наудачу, первыя попавшіяся строки.

„И день (!), и ночь я съ ней, волшебною богиней, живу какъ
въ сладкомъ снѣ... стр. 9.

„Опьяненные любовью, жгучей страстью согрѣты... стр. 10.
„Обними, обогрѣй и въ объятьяхъ меня успокой... стр. 20.
„И въ объятьяхъ жгучей ласки, колыхался стань твой тонкій...
стр. 34. И т. д., и т. д.

Впрочемъ, такое патологическое явленіе въ сексуальной сфере автора настѣ не удивляетъ. Оно естественно развилось на почвѣ алкоголизма, такъ какъ г. Гончаренко въ одномъ мѣстѣ рѣшительно заявляетъ:

„Какъ ни силенъ я и ни стоекъ,
Но вѣдь волшебный видъ настоекъ,
Неотразимо, какъ магнитъ,
Меня всегда къ себѣ манитъ... (стр. 52);

а въ другомъ стихотвореніи, написанномъ послѣ бала, гдѣ поселились „мундиры и фраки, капули и баки“, прямо высказывается наклонность автора къ алкоголизму:

И молвиль съ тоскою;
Я: „право, не скрою
Какъ жаль, что здѣсь нѣту буфета!“...

Говорятъ, что сознаніе обвиняемаго—лучшее доказательство его виновности. Но что же отвѣтить намъ г. Гончаренко, когда онъ самъ, съ свойственной ему благородной душѣ прямотою, заявляетъ намъ:

„Яль виновать, что судьба вмѣсто лиры чудесной
Въ руки дала мнѣ одинъ лишь заржавленный мечъ...“

Г. Тверской.

В. СИПОВСКІЙ. Пушкинъ. Жизнь и творчество. Спб. 1907. 3 р. 50 к. ХХV+618 стр.

В. Сиповскій принадлежитъ къ „профессиональнымъ“ историкамъ литературы, именно къ тѣмъ изъ нихъ, кои всегда болѣе добросовѣстны, нежели блестящи. Тѣми же качествами отличается и книга его о Пушкинѣ. Первая часть ея посвящена довольно подробному жизнеописанію поэта въ связи съ исторіей его творчества. Здѣсь добросовѣстно использованы источники, до новѣйшихъ трудовъ В. Брюсова и Н. Лернера включительно. Авторъ подробно останавливается на отношеніяхъ Пушкина съ семьей, лицейскими товарищами, литературнымъ міромъ, „свѣтомъ“ и правительствомъ. Избранный имъ здѣсь методъ — параллельный обзоръ жизни и трудовъ — опять-таки использованъ добросовѣстно, но материалы обобщены не блестяще, вѣрнѣе — не обобщены вовсе, ибо такія заявленія, какъ: Пушкинъ — поэтъ дѣйствительности, сколько бы разъ ни были повторены, ничего не говорягъ ни о самомъ Пушкинѣ, ни о его творчествѣ. Такими общими мѣстами, но не обобщающими и положеніями наполнено все предисловіе. Вторая часть книги не пополняетъ и не пытается пополнить пробѣла. Здѣсь находимъ только рядъ обзоровъ по литературной исторіи „Руслана и Людмилы“, „Полтавы“, „Бориса Годунова“, „Исторіи Села Горюхина“, „типовъ“ Онѣгина, Татьяны и Ленскаго, и статью о пушкинскомъ „байронизмѣ“.

Семьдесятъ лѣтъ прошло со дня смерти Пушкина. Изслѣдованіями о его жизни и творчествѣ исписаны вороха бумаги. Добросовѣстные историки возстановили чуть не каждый день его

жизни. Литературная исторія его произведеній пестрѣть тысячами мнѣній и предположеній. Мы знаемъ очень много о Пушкинѣ-литераторѣ, о Пушкинѣ — добычѣ поэтовъ и историковъ литературы. Но о Пушкинѣ, какъ огромномъ явленіи жизни, о Пушкинѣ, если не всемирномъ, то всероссийскомъ, намъ рѣдко даже говорятъ. Д. С. Мережковскій въ „Толстомъ и Достоевскомъ“ и въ „Вѣчныхъ Спутникахъ“ прощель все-таки очень небольшое пространство (хотя, повидимому, самому ему кажется иначе), да и то лишь въ направленіи, которое открыль ему указательный палецъ Достоевскаго. Слова же самого Достоевскаго историки вродѣ В. Сиповскаго вспоминаютъ чуть ли не со снисходительной улыбкой. Поэту оказался для Достоевскаго предлогомъ и темой для проповѣди, для пророчества. (Курсивъ г. Сиповскаго)... Въ такомъ своеобразномъ освѣщеніи Пушкинъ выросъ въ громадный, гигантскій призракъ (подчеркнуто г. Сиповскимъ; знай нашихъ!), и, хотя опьяненіе отъ этой восторженной рѣчи скоро, какъ будто, и прошло (статья Гл. Успенскаго), но многія идеи этой рѣчи вошли въ общее сознаніе, — тоже сдѣлялись „ходячей монетой“. Апоѳеозъ русского народа — „христіанина“, апоѳеозъ Татьяны (идеаль русской женщины) — сдѣлялись съ этого времени шаблонными фразами русской литературы, „общими мѣстами“ въ устахъ преподавателей и на страницахъ ученическихъ сочиненій...“ (стр. XI).

Выходитъ, что Достоевскій — какой-то „грѣхъ молодости“ русского пониманія Пушкина.

В. Сиповскій и ему подобные, обрушившись на рутинность школьнѣхъ понятій о Пушкинѣ (словно Достоевскій эту рутинность насадилъ!) и не выходя изъ области все того же школьнаго отношенія къ нему, пытаются эти понятія исправить. Это все, что они дѣлаютъ. Приходится обратиться такъ къ г. Сиповскому и прочимъ: исправляйте тексты, хронологію, возстановляйте факты, преприайтеся о „взглядахъ“ и „мнѣніяхъ“, но дайте намъ почувствовать, что вы не забываете о томъ, кто возбудилъ всю эту вашу работу, что вы понимаете или хотите понять его значеніе въ исторіи Россіи и міра. Иначе — или мы признаемъ васъ почтенными гробокопателями, работающими ради трудолюбія, или самимъ вамъ придется сказать: „мы умѣемъ только безсознательно настилать путь кому-то другому, который, прида, разскажетъ не только русскимъ гимназистамъ, но и всей Россіи трагическую повѣсть о всероссийскомъ, а не школьнномъ, Пушкинѣ...“ Знать эту повѣсть все необходимо.

Иванъ Выжигинъ.

МОДЕСТЬ ГОФМАНЪ. Соборный индивидуализмъ. Спб. 1907. Цѣна 65 коп.

Что такое соборный индивидуализмъ? Вотъ вопросъ, который естественно ставится въ умѣ читателя, принимающагося за книжку г. Гофмана. — Читатель пробѣгаѣтъ предисловіе, надѣясь получить отсюда первоначальную ориентировку. Изъ предисловія онъ знаетъ, что соборный индивидуализмъ „устанавливаетъ координацію обособляющихся другъ отъ друга индивидуумовъ и теряющихъ живое сознаніе послѣдней реальности — тѣла Христова, утверждающаго индивидуальность“.

Языкъ очень плохъ; будемъ снисходительны къ автору, выступающему въ первый разъ (какъ онъ самъ обѣ этомъ за-

является). Не станем останавливаться над изложением; поспешим перейти к существу дела. Очевидно, соборный индивидуализм есть направление, смысл которого заключается: сь одной стороны, въ поощрении индивидуального развития личности; сь другой стороны, въ устранении возможности взаимного обособления этихъ индивидуально - развивающихся личностей. Предметъ хотя и не новый, но поченный—говорить про себя читатель. По этому поводу можно сказать много интересного—думаетъ онъ дальше. Можно обратиться къ началу всѣхъ теоретическихъ началь гносеологии; при свѣтѣ ея установить определенное отношение къ психологической проблемѣ „Я“ и „Не-я“; высказать или въ смыслѣ признания одного члена этой пары за принципъ, другого—за производное, или же въ смыслѣ равноправности обоихъ членовъ (вѣдь это ужасно важно, разъ трактуется философской проблемой: безъ прочной почвы развѣ мыслимъ здѣсь хотя бы одинъ вѣрный шагъ!). Такъ фантазируетъ досужий читатель. Онъ думаетъ: высказавшись такъ или иначе въ рѣшеніи вѣчнаго спора между Я и Не-я, авторъ тѣмъ самымъ можетъ опредѣлить свое отношение къ религиозной проблемѣ; столкнувшись съ этой проблемой, онъ наврядъ ли избѣжитъ необходимости анализировать умонастроеніе плеяды глубокихъ религиозныхъ мыслителей послѣднихъ временъ, съ Ницше и Достоевскимъ во главѣ ихъ; не даромъ и книжка-то посвящена памяти Достоевского и Вл. Соловьеву... И послѣ всего этого ужъ не можетъ быть того, чтобы приведенное авторомъ (такъ разсчитывая читатель) аргументы не дѣйствовали въ опредѣленную сторону; не можетъ быть, чтобы они не давали той или иной директивы читателю впечатлительному, живо чувствующему связь своего существа съ сложной тканью современныхъ умонастроений!...

Помечтавъ такимъ образомъ надъ бѣлой страницей, отдѣляющей предисловіе отъ текста, читатель переходитъ къ чтенію этого послѣдняго и въ самомъ скоромъ времени убѣждается, что его расчеты терпятъ жестокое крушеніе. Уже на шестой страницѣ авторъ безъ всякихъ аргументовъ говоритъ о кризисѣ „обособленного индивидуализма“, сплеча расправляется съ „индивидуализмомъ девяностыхъ годовъ“ и со „всѣми субъективистическими системами“ и предлагаетъ свой спасительный рецептъ: „мы—говорить онъ—для развитія индивидуальности уходимъ не въ пустыни и не въ дубравы, а въ хороводы“. И для большей убѣдительности подкрѣпляетъ свою мысль стихами г. Городецкаго:

„Въ хороводы, въ хороводы!
О, соборуйтесь народы...“

Конечно, г. Городецкій писатель не лишенный таланта, но теоретическое его значеніе покуда ничтожно, и мысль автора отъ такой аргументаціи ровно ничего не выигрываетъ. Зато читатель получаетъ немедленную возможность установить къ книжкѣ г. Гофмана рѣзко отрицательное отношение, которое только крѣпнетъ при дальнѣйшемъзнакомствѣ съ ней. Въ сущности вся она являетъ собою рядъ недостатковъ. А во избѣженіе гологлавности, приведемъ—хоть это и не весело—нѣсколько примѣровъ.

На стр. 10 и 11 авторъ бѣгло сличаетъ систему „соборного индивидуализма“ съ „социалистическими и коммунистическими ученіями“, также съ анархизмомъ. По этому поводу, во-первыхъ, замѣтимъ, что коммунизмъ есть лишь разновидность соціализма—и слѣдовательно нельзя говорить о „социалистическихъ и комму-

нистическихъ ученіяхъ“. Во-вторыхъ, г. Гофманъ говорить: „соціализмъ, коммунизмъ и анархизмъ заботились о правѣ всѣхъ на равенство, а не о личномъ правѣ всѣхъ“. Спрашивается: знать ли г. Гофманъ о существованіи индивидуалистического анархизма и читать ли онъ (если ограничиваться русскою литературой) такого блестящаго писателя по связаннымъ съ этимъ направлениемъ вопросамъ, каковыми является А. А. Боровой?

Въ разныхъ мѣстахъ книги авторъ говорить (по всѣмъ признакамъ совершенно серьезно) объ Элогіи, о мірозданіи (согласно съ библейской легендой), о томъ что „мы вѣримъ въ таинство покаянія... Вѣримъ въ таинство Евхаристіи...; вѣримъ въ то, что мы будемъ богочеловѣками—истинными сынами истиннаго Отца“; но всего лучше то, какъ на стр. 106 онъ въ подтвержденіе одной своей мысли ссылается на библейскій разсказъ о вавилонскомъ столпотвореніи!

Два раза (стр. 20 и 36) говорить авторъ о древнемъ мірѣ, что онъ „погибалъ въ развратѣ“. Признаемся, намъ настолько странныы подобныя утвержденія, что мы не находимъ подходящихъ выражений для того чтобы, возражать...

На стр. 20 г. Гофманъ говоритъ, что дохристіанскій міръ „ставилъ своею главной задачей исключительное возвеличеніе своего (?) „Я“ (что, по автору, является дурнымъ индивидуализмомъ). А на стр. 22, 28 и др. оказывается, что какъ въ греческой философіи, такъ и въ греческой религіи имѣются уже налицо основные положенія, главные корни соборного (т.-е., по автору, хорошаго) индивидуализма!

На стр. 20 авторъ попрекаетъ древній міръ идеей „о своемъ народѣ, какъ обѣ избранномъ, предназначенному для какихъ-то провиденіальныхъ цѣлей“ и въ скобкахъ замѣчаетъ: „идея, отголоски которой были сильны еще и въ XIX вѣкѣ, по преимуществу въ Россіи и Германіи“. Теперь посмотримъ стр. 71. Здѣсь стоитъ буквально сѣдѣющее (и это говорить не человѣкъ XIX вѣка, это говорить г. Гофманъ): „Новая струя идетъ въ настоящее время съ Востока, изъ Россіи, и мы поможемъ Западу въ его трудныхъ родахъ...“

А что говорить г. Гофманъ обѣ искусствѣ! Вотъ цитата съ стр. 106: „мы вполнѣ (!!) представляемъ себѣ, какъ возникло искусство. Первымъ толчкомъ къ возникновенію его были изумленіе (философія) (!) и благовѣніе (!) предъ идеей Бога (!) (религія). А вотъ выдержка изъ стр. 84: „искусство съ самыемъ первыхъ шаговъ отличалось большою содержательностью, и содержательность эта была обусловлена тѣмъ, что творилъ не одинъ человѣкъ, а весь народъ.“—Мы не сомнѣваемся, что эту глубокомысленную фразу г. Гофманъ заимствовалъ изъ какого-нибудь своего гимназического сочиненія...

Любопытна и вѣшнность книжки. Ея обложка украшена синею кляксой, и обѣ этой кляксѣ г. Гофманъ говоритъ въ предисловіи, что она „своимъ вдохновеннымъ символизмомъ выявляетъ музыкальное содержаніе идеи соборного индивидуализма...“

Какая же мораль отсюда?—спросить читатель.—Прежде всего, то что недостаточно получать пятерки за гимназическую сочиненія, чтобы выступать со статьями по серьезному вопросамъ.—Но это относится къ г. Гофману, а какъ же быть съ соборнымъ индивидуализмомъ?—По этому поводу можно сказать нѣсколько простыхъ словъ.—Иного индивидуализма не бываетъ и быть не можетъ, кроме коллектива или „соборного“. Индивидуализмъ всегда основывается на взаимодѣйствіи индивиду-

умовъ. Индивидуалистичекія тенденціі, какъ и всякия другія, могутъ терпѣть уклоненія, искаженія; тѣмъ не менѣе нельзѧ серъезно говорить ни при какихъ условіяхъ о „кризисѣ индивидуализма“; если всмотрѣться получше, то всегда окажется, что такъ называемый кризисъ индивидуализма есть на самомъ дѣлѣ лишь проявленіе недостаточно рѣзко выраженного индивидуализма, что, напримѣръ, можетъ объясняться нервною слабостью той или иной эпохи. Всѣ гени, всѣ великие представители человѣчества были въ тоже время величайшими индивидуалистами; и нѣтъ сомнѣнія, что они будутъ являться и впредь. И когда они будутъ свѣтить своему поколѣнію, тогда конечно никто не заговоритъ о „кризисѣ индивидуализма“.

Алеїскъ.

ПРОФ. О. ЗѢЛИНСКІЙ. Соперники христіанства. Изъ жизни идей. Т. III. С.-Пет. VII—406. 1907.

Есть книги идей и есть книги—и деи. Томъ, недавно изданный профессоромъ Зѣлинскимъ, является и тѣмъ и другимъ. Съ одной стороны „Соперники христіанства“ поражаютъ насъ богатствомъ идеяного содержанія, а съ другой—книга проникнута одной идеей. Это одновременно и интереснѣйший музей, и келья анахорета. Музей мы видимъ, музею мы удивляемся, а келью только воображаемъ себѣ, но именно келья-то и влечетъ къ себѣ вдумчиваго читателя книги. Суть книги О. Фр. Зѣлинского, ея идея, это — необходи́мость искать въ ру. Девизъ Мерлина „воля Бога есть осуществленіе жизни“ кажется мнѣ символомъ не самой вѣры, а именно ея исканія, т.-е. мысли о томъ, что безъ вѣры нѣтъ и не можетъ быть сознательной жизни.

Основная идея бросаетъ свѣтъ на разработку каждого изъ явленій, которыя проф. Зѣлинский пріурочилъ къ „Соперникамъ христіанства“.

Вотъ, напр., огромная статья (100 страницъ) объ астрологіи. Послѣ цѣлаго ряда поучительныхъ и остроумныхъ соображеній, которыми сопровождается разсказъ о многовѣковой исторіи этой науки, авторъ заключаетъ свою статью такими словами: „Если симпатический аспектъ со временемъ Ньютона уступилъ свое мѣсто механическому, то это еще не доказываетъ, что послѣднему сужено продержаться до конца жизни человѣчества,— не доказываетъ невозможности третьаго, синтетического аспекта, о характерѣ котораго теперь и думать было бы преждевременно“.

Очеркъ „Античная гуманность“ (по поводу книги Макса Шнейдевина съ тѣмъ же заголовкомъ) оканчивается блестящимъ составленіемъ героя изъ его вулканической натурой, и неупунтическаго характера гуманности.

Авторъ очень симпатична античная гуманность, главному представителю которой онъ посвятилъ особое и очень популярное на Западѣ сочиненіе. Въ связи съ этимъ онъ даетъ очень интересную антitezу героя и гуманного человѣка (на 231 стр.) въ лицѣ Катона, противопоставленаго Цицерону. Прекрасно написанный этюдъ объ „Еленѣ“ опять-таки водится авторомъ къ высокой религіозно-метафизической концепціи. „Народность, античность, христіанство — эти три главныя культурныя силы современного человѣчества вступили въ союзъ между собою: въ лицѣ Гѣте новая Европа окончательно усыновила древняго тирана; Гретхенъ, Елена, Mater gloria — послѣдовательно направляютъ Fausta на его пути черезъ борьбу и страданія къ спасенію“.

Самымъ оригинальнымъ явленіемъ книги проф. Зѣлинского слѣдуетъ признать, конечно, его „Гермеса Трисмегиста“. Русскіе читатели, по крайней мѣрѣ въ широкихъ кругахъ, ничего не читали покуда о религіи герметизма. Въ статьѣ нашего почтенаго филолога они познакомятся не только съ той точкой зрѣнія на эту стойкую форму религіозной мысли, которая господствуетъ теперь на Западѣ и где-нибудь переоцѣнивается значеніе египетскаго герметизма, но и съ оригинальнымъ взглядомъ русскаго эллиниста, который вывелъ герметизмъ изъ Аркадіи и выяснилъ намъ его многообразныя связи съ миѳами и религіей грековъ.

„Да познаетъ мыслящій человѣкъ самого себя, что онъ безсмертъ, и что причина смерти — любовь“: эта глубокомысленная концепція религіи Разума, нѣкогда сильной соперницы христіанства, превосходно иллюстрируется проф. Зѣлинскимъ данными эллинской миѳологіи: то, что въ Египтѣ стало отвлеченностю, у грековъ жило еще въ многообразныхъ и дивно прекрасныхъ воплощеніяхъ.

Читатель можетъ познакомиться въ книгѣ г. Зѣлинского и съ религіей античнаго Рима въ ея новомъ освѣщеніи. Книга Георгія Вассовы послужила нашему автору основаніемъ для интереснѣйшаго очерка „Римъ и его религія“.

Характернымъ признакомъ религіи древнихъ римлянъ была ея актуальность. Римляне обожествили въ своей Церерѣ не высокую, ласковую женщину, которую видѣли въ Деметрѣ эллины, а растущій хлѣбъ. Римскія божества были „объективациими міровой Воли“.

Не мало любопытныхъ страницъ посвящено въ книгѣ и самому христіанству, которое, съ одной стороны, сопоставляется съ римской религіей, съ другой противополагается римской философіи.

Отдельно отъ прочихъ этюдовъ стоитъ послѣдній: онъ написанъ съ особой любовью, и въ немъ авторъ является однимъ изъ немногихъ поклонниковъ Иммермана.

Этюдъ посвященъ символической драмѣ „Мерлинъ“, про которую поэтъ самъ говорилъ, что она „изнемогаетъ подъ тяжестью своей метафизической брони“. Размѣтки этой замѣтки не позволяютъ намъ возражать О. Фр. Зѣлинскому по поводу интереснѣйшихъ положеній и сближеній, которыми изобилуетъ его книга: ея авторъ не боится ни парадоксовъ, ни рѣзкихъ характеристикъ (называя же онъ 17-й вѣкъ „убогимъ“), и книга какъ бы разсчитана даже на полемизмъ возбужденной мысли читателя. Во всякомъ случаѣ появленіе „Соперниковъ христіанства“ въ Россіи въ наши дни слѣдуетъ признать очень знаменательнымъ: мы задыхаемся въ чаду противорѣчій. Намъ нуженъ синтезъ, а не сдѣлка.

И. Анненскій.

ВЛ. СВЕНЦІЦКІЙ. Религіозный смыслъ Бранда. СПБ. 1907. 10 коп.

Эта брошюра представляетъ собой докладъ, читанный Свенцицкимъ въ московскомъ религіозно-философскомъ обществѣ, и безусловно заслуживаетъ вниманія огненной религіозностью языка автора.

Это можно констатировать вполнѣ объективно, исходя изъ принципиально иныхъ воззрѣній на религію.

Протестъ противъ офиціального христіанства, противъ „слабой человѣческой жалости“, призыва къ религіозному дѣйстви-

ванію—это тѣ послѣднія упованія, которыя можно возлагать на христіанство.

Если христіанство можетъ имѣть теперь смыслъ и цѣнность, то, конечно, только въ этихъ формулахъ. И вмѣстѣ съ тѣмъ онъ для него явится послѣднимъ, крайнимъ испытаніемъ. Вотъ почему невозможно пройти мимо нихъ.

Послѣшность работы и мѣстами философская наивность (напр. въ трактованіи вопроса о свободѣ)—крупные недостатки доклада Свенцицкаго. Но остается увѣренность, что эти недостатки не смогутъ потушить его огненности.

Б. Грифцовъ.

М. А. БАКУНИНЪ. Полное собраніе сочиненій. Т. I и II-й. СПб. Изд. Балашева.—Кнuto-германская имперія и соціальная революція. М. 1907.—Богъ и государство. Изд. „Равенства“. М. 1906.—Письма М. А. Бакунина къ А. И. Герцену и Н. П. Огареву. СПб. 1907.

Писанія Бакунина продолжаютъ представлять хаосъ, и разобраться въ нихъ не легко. Начатыя и неоконченныя статьи, затерявшіяся въ никому невѣдомыхъ газетахъ 60 и 70 годовъ, брошюры, давно ставшія величайшей библіографической рѣдкостью, письма и посланія, частью до сихъ поръ еще не увидѣвшія свѣта,—все это разбросано, не приведено въ систему, не освѣщено критикой. Бакунинъ писалъ обыкновенно безъ плана, импровизируя, по какому-нибудь частному поводу, не заботясь о стройности сочиненія и часто неожиданно мѣняя самый предметъ изложенія. Благодаря этому нерѣдко отдѣльныя части рукописи издавались разными лицами, причемъ издатели даже не предполагали, что они имѣютъ дѣло съ общею рукописью. Такъ „Кнuto-германская имперія“ является началомъ большого труда, задуманного Бакунинымъ во время франко-пруссской войны, „Богъ и государство“, изданное Э. Реклю и перев. въ изд. „Равенства“ составляется продолженіе, обширная статья подъ тѣмъ же заглавіемъ въ первомъ томѣ „Полнаго собранія сочиненій“ представляетъ окончаніе. Все это дѣлаетъ необходимымъ научное изданіе сочиненій Бакунина, съ примѣчаніями, обозначеніемъ хронологическихъ датъ, съ указаніемъ поводовъ, по которымъ они были написаны. Ничего этого не сдѣлано въ появитившихся за послѣднее время въ Россіи изданіяхъ сочиненій Бакунина. Единственное исключеніе составляетъ переписка Бакунина съ Герценомъ и Огаревымъ, изданная Драгомановымъ.

Но и въ томъ видѣ, въ какомъ они изданы теперь, сочиненія Бакунина имѣютъ важное значеніе и вызываютъ къ себѣ живой интересъ. Пусть доктрина Бакунина и не изложена въ нихъ систематично; подобно апостолу Павлу, Бакунинъ разсѣялъ свои идеи въ многочисленныхъ, случайныхъ посланіяхъ; но тѣмъ не менѣе ученіе его рельефно и жизненно выступаетъ изъ мутного потока рѣчей, писемъ и случайныхъ статей.

Прежде всего ярко вырисовывается самая личность Бакунина. Въ бурныхъ, часто беспорядочныхъ, всегда волнующихъ, полныхъ энтузіазма фразахъ слышится гордый человѣческий голосъ, чуетъся вѣяніе вѣчной свободы, и независимо отъ вѣрности или ошибочности самихъ идей онъ вѣсъ увлекаютъ своимъ простымъ безыскусственнымъ краснорѣчіемъ. Бакунинъ былъ яркимъ подтвержденіемъ предсмертныхъ словъ Сень-Симона: „roug faire des grandes choses, il faut être passionnѣ“. Годинъ дальше болѣе стройную систему анархизма, Штирнеръ обладалъ болѣе неумо-

лимою логикою, и между тѣмъ они прошли въ мірѣ, можно сказать, почти безслѣдно, Бакунинъ же наполнилъ своимъ именемъ вселенную. „Въ Россіи среди студентовъ,—по словамъ Э. Реклю,—въ Германіи среди дрезденскихъ инсургентовъ, въ Сибири среди своихъ собратій по изгнанію, въ Америкѣ, въ Англіи, во Франціи, въ Швейцаріи, въ Италии среди пробуждающагося народа, пронесся онъ, какъ потокъ лавы, воспіламеняя все на своемъ пути“.

Внимательное изученіе писаній Бакунина обнаруживаетъ между прочимъ полную неосновательность той репутаціи апостола разрушенія, которая создана Бакунину. За кипучимъ краснорѣчіемъ его фразъ, за огненностью его филиппикъ вовсе не скрывалось объявление войны, брошенное обществу и человѣчеству гордымъ индивидомъ. Онъ не былъ даже сторонникомъ анархизма въ смыслѣ отрицанія въсякой власти, въсякихъ законовъ, въсякой организаціи. Надо лишь строго различать тотъ непримѣрный революціонный методъ, который рекомендовалъ Бакунинъ, отъ его положительной программы. Новый желаемый строй не представлялся Бакунину полнымъ отрицаніемъ всего нынѣ существующаго, это была бы лишь радикальная перестройка политическихъ и экономическихъ отношеній. Менѣе всего Бакунинъ былъ индивидуалистомъ. Онъ постоянно протестуетъ противъ идеалистической морали за ея фикцію отдѣльного человѣка. Бакунинъ всегда признаетъ соціальную солидарность и на ней строить свою систему; онъ признаетъ общество и его законы и, возставая противъ современного государства, построенаго на насилии и эксплуатации, строить обширный планъ федералистической организаціи народовъ и всего человѣчества.

Доктрина Бакунина еще не подвергалась серьезному изученію, и относительно нея господствуетъ до сихъ поръ множество совершенно неправильныхъ представлений.

А. Ященко.

СТАНИСЛАВЪ (А. ВОЛЬСКІЙ). Теорія и практика анархизма. Москва, 1906.

Авторъ подходитъ къ анархизму съ точки зрѣнія французского синдикализма (74—80) и интересуется главнымъ образомъ коммунистическимъ анархизмомъ, объ индивидуалистическомъ же имѣть самыя смутныя понятія, что видно хотя бы изъ того, что къ анархистамъ-индивидуалистамъ на стр. 4 и 14 онъ причисляетъ Прудона, хотя на стр. 85 самъ же вынужденъ признаться, что это анархистъ-коммунистъ. Да и послѣдователей Прудона на стр. 6 и 14 авторъ причисляетъ къ коммунистамъ. И источникомъ этой ошибки автора служитъ то, что на стр. 4, 14 и 23 онъ, не совладавъ съ неправильнымъ и измѣнчивымъ языкомъ писаній Прудона, считаетъ послѣдняго сторонникомъ частной собственности на орудія производства, тогда какъ на самомъ дѣлѣ Прудонъ отрицаетъ всякую собственность. А Штирнера и Тукера—этихъ настоящихъ отцовъ индивидуалистического анархизма—авторъ не знаетъ даже по имени. Исторію анархизма авторъ начинаетъ съ Карпократа, Зенона же ему даже по имени неизвѣстенъ. Да и относительно карпократійцевъ напрасно авторъ торопится съ утвержденіемъ, что въ ихъ ученихъ выступаетъ „Богъ противъ власти“ (7), такъ какъ на дѣлѣ никто не боролся такъ усердно съ карпократійцами, какъ представители ортодоксальнаго христіанства (Ириней). Очень смутныя понятія

авторъ имѣть и объ естественномъ правѣ, сводя всю его роль къ борьбѣ съ религиозными предразсудками. Неизвѣстенъ автору и первый теоретикъ анархизма Годвинъ. Ошибочнъ и взглядъ автора на новый анархизмъ, какъ на результатъ бунта науки противъ философіи (27), тогда какъ на самомъ дѣлѣ и новый анархизмъ, какъ и старый, есть лишь философія права, отрицающая государство. Измѣнились только основанія этой философіи (марксизмъ). Самое изложеніе ученія новаго коммунистического анархизма (лишь по Бакунину и Крапотину!) на стр. 27—37 поверхно и расплывчато, притомъ исходить изъ предвзятыхъ идей буржуазности, экономической невозможности и вреда для самой личности анархизма. На стр. 37—50 всю политику анархизма авторъ сводить къ такому несущественному его элементу, какъ пропаганда дѣйствіемъ, и такимъ образомъ безъ труда доказываетъ, что политика анархизма на руку лишь государственной власти, полиціи и буржуазіи, а пролетаріату приноситъ только вредъ, разрушая всякое единство и всякую организацію. Неудачи анархистовъ при попыткахъ ихъ осуществить свои идеалы въ жизни теперь же, которыми авторъ такъ усердно тычетъ имъ въ глаза на стр. 51—58, на самомъ дѣлѣ доказываютъ не политическое безсиліе анархизма, какъ это думаетъ авторъ, а лишь невозможность осуществленія анархического строя въ чистомъ его видѣ раньше, чѣмъ человѣчество вывѣратся въ котлѣ соціализма. По той же прежде временности вѣдь по словамъ самого автора (79) терпѣль раньше крушенія и самъ соціализмъ. Мѣшаютъ предвзятыя идеи автору понять, какъ слѣдуетъ, и отношеніе анархизма къ рабочему движѣнію (59—74). Врядъ ли можно утвердить, какъ это дѣлаетъ авторъ на стр. 73, что вся роль анархистовъ въ этой области сводится къ намѣренному съ ихъ стороны воспитанію рабочихъ путемъ пораженій. Вѣдь и революціонный синдикализмъ, на сторонѣ котораго симпатіи самого автора, есть законное дѣтище анархизма (75) въ примѣненіи къ настоящему моменту, а не гибель анархистской идеи отъ своего собственного безсилія, какъ это утверждаетъ авторъ на стр. 80. Такимъ образомъ, у автора вѣрно лишь указаніе на то, что соціализмъ не есть послѣдній этапъ развитія человѣчества и что мы теперь не можемъ предугадать подробностей строя, который придется на смѣну соціализма (84). Но и тутъ, вопреки автору, если не въ подобностяхъ, то въ общихъ контурахъ, какъ грядущихъ лѣтъ неясный слѣдъ, невѣрный свѣтъ, можемъ намѣтить строй индивидуалистического анархизма, къ которому авторъ относится съ такимъ пренебреженіемъ, какъ конечную стадію исторического развитія. Вѣрны и указанія автора на то, что пропаганду дѣйствіемъ родятъ отчаяніе и мѣсть (83). Дѣйствительно, деклассированные и дегенераты вѣдь и поставляютъ исключительно ея адептовъ. Библіографическій указатель, приложенный къ книгѣ, весьма неполонъ и случаенъ. Исключены изъ него творенія всѣхъ анархистовъ-индивидуалистовъ. Нѣть въ немъ и такихъ книгъ, какъ книги Амона и Штамлера, Борового и Ященко.

Сергей Шумаковъ.

БОРЬБА ОБЩЕСТВЕННЫХЪ СИЛЪ ВЪ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦІИ. Выпускъ I и II. Москва, 1907.

Очень цѣнное изданіе, имѣющее своей цѣлью объективно (хотя и съ меньшевистской точки зреянія) выяснить соціальные

процессы русской революціи. Въ I в. его такимъ образомъ г. Мечъ выясняетъ силы реакціи, опирающейся главнымъ образомъ на крупное поземельное дворянство (Столыпинъ), а отчасти и на крупный капиталъ (Витте). Кромѣ того, съ старымъ режимомъ тѣсно сплелись и практическіе, и духовные интересы профессіональныхъ группъ правительственный бюрократіи, администраціи съ полиціей и, наконецъ, духовенства. Болѣе или менѣе сознательно продаютъ свои услуги „сферамъ“ и „камарильѣ“ и импреп-пролетаріатъ (физическая), а также специальная патріотическая „интелигенція“ (духовная). Поддерживаетъ старый режимъ часто вопреки своимъ же соціальнымъ интересамъ и малозначительные уже въ силу своего соціального положенія классы мелкихъ собственниковъ и всякаго вообще изолированнаго раздробленнаго труда. Сознательно же изъ нихъ поддерживаютъ старый режимъ только ростовщики и кулаки. Временно и случайно реакціона и крестьянская масса иѣкоторыхъ мѣстностей въ силу недостатка классовой сознательности. Но лейтмотивами реакціи, повторяемъ, являются интересы помѣщика-феодала, для котораго главное—сохраненіе земли и работника (42), и нетерпимость политическая, религиозная и национальная, съ чѣмъ отождествляется „патріотизмъ“ реакціи (100). А пропаганду и организацію въ отсталую среду съ ея своеобразною психикою вносятъ массовая реакціоннай партіи, союзы и „черныя сотни“. Наконецъ, собственные интересы сознательно защищаютъ обособленныя выступленія владѣльческихъ слоевъ реакціи, землевладѣльцевъ, дворянства, земствъ,—словомъ, поземельного класса и затѣмъ крупной буржуазіи. Вотъ взаимную игру и переплетъ всѣхъ этихъ классовъ, группъ и организацій живо и образно и рисуетъ книжка г. Меча, причемъ особое вниманіе онъ обращаетъ на крупно-землевладѣльческое дворянство. Очень жалѣемъ, что не могли воспользоваться для написанной нами еще въ октябрь 1906 г. для IV в. „Политической энциклопедіи“ Слонимскаго статьи о дворянствѣ свѣдѣніями, сообщаемыми г. Мечемъ о дворянско-землевладѣльческихъ союзахъ, собраніяхъ и съѣздахъ (26—43). Въ высшей степени цѣнны и важны и свѣдѣнія, сообщаемыя г. Мечемъ о разныхъ полуправительственныхъ конспиративныхъ кружкахъ, преслѣдующихъ „патріотическую цѣль“ охраны, сыска, специфической пропаганды, уличныхъ расправъ съ „крамольниками“ и погромовъ (48—99), хотя, конечно, свѣдѣнія г. Меча въ этой области и далеко не полны хотя бы уже въ силу тайного характера и современности намъ этихъ кружковъ. Слабы и не полны и страницы книги, посвященные консервативному союзу 17 октября (43—47). О собственно же реакціонной буржуазіи у г. Меча ни слова. Молчить онъ и объ европейскихъ ростовщикахъ, какъ опорѣ реакціи. Въ тѣніи оставлена имъ и реакціонная роль духовенства (Восторговы и Иллюдоры), полиціи и войска (Сѣдлецъ). Затѣмъ II в. г. Череванинъ посвящаетъ главному дѣятелю нашей революціи—рабочему пролетаріату. Главному, но не единственному, такъ какъ даже манифестъ 17 октября является результатомъ не изолированнаго выступленія пролетаріата, а совмѣстнаго съ другими классами населенія. Не можемъ также не отмѣтить и того, что г. Череванинъ съ рѣдкимъ безпристрастіемъ и объективностью указываетъ, какъ на слабую связь соціаль-демократіи съ пролетаріатомъ (20), на отсутствіе руководящей роли первой въ выступленіяхъ второго (105) и на политическую незрѣлость послѣдняго (107), если не считать окраинъ (30), такъ и на погрѣшности соціаль-демократіи какъ

теоретическая (подмѣна реального анализа дѣйствительности революціонными иллюзіями, переоцѣнка силы пролетаріата и недооцѣнка силы противника), такъ и практическая (выступленіе 1 мая 1905 г., бойкоть Думы 17 октября и борьба противъ кадетской Думы, введеніе захватныхъ путемъ 8-часового рабочаго дня, ноябрьская забастовка, манифестъ 2 декабря, изолированность почтово-телефрафной забастовки и декабрьскаго восстанія и главное—грызня съ другими партіями и классами предъ лицомъ общаго врага, 117). Напрасно только г. Череванинъ оставляетъ въ тѣни то обстоятельство, что въ погрѣшностяхъ этихъ виновата главнымъ образомъ не соціаль-демократія сама по себѣ, а подполье, въ которомъ пребывала она долгіе годы, и порожденный подпольемъ большевизмъ (къ сожалѣнію, имѣющійся и въ другихъ партіяхъ) протопоповъ Аввакумовъ и Никита Пустосвѣтъ нашей революціи, только вредящихъ ея дѣлу своимъ узкимъ сектантствомъ, бланкізмомъ и нетерпимостью. Самъ пролетаріатъ, впрочемъ, созналъ это и стремится покончить съ подпольемъ и партійными интеллигентскими дразнагами путемъ всероссійского рабочаго съѣзда (см. сборники о немъ „Организаціи“ и „Сотрудника провинціи“ и статью Хрусталева въ № 1 „Народной Газеты“), толки по поводу котораго о трѣдъюніонистской опасности, по нашему мнѣнію, преувеличены, и напрасно поэтому г. Череванинъ это движеніе замалчиваетъ и даже пренебрежительно къ нему относится (104). Напрасно также онъ замалчиваетъ дѣятельность среди рабочихъ соціаль-революціонеровъ, тогда какъ, напр., въ Петербургѣ ихъ вліяніе на пролетаріатъ очень значительно. Очень слабо и не полно (особенно сравнительно съ книгой Мартова: „Пролетарская борьба въ Россіи“) изложена г. Череванинъ и исторія пролетаріата до 1905 г. Напрасно также онъ начинаетъ ее лишь съ 1896 г. (13), тогда какъ на самомъ дѣлѣ въ связи съ голоднымъ годомъ движеніе пролетаріата началось еще въ 1892 г. (Юзовъ) и съ тѣхъ поръ не прекращалось. Переоцѣниваетъ г. Череванинъ и значеніе избирательного закона 11 декабря (79). Гвоздемъ же книги является приводимая въ ней полностью (впервые въ легальной прессѣ, если не ошибаемся) петиція, съ которойшли рабочіе 9 января къ Зимнему дворцу (24—27).

Сергій Шумаковъ.

СЕРГІЙ КРЕЧЕТОВЪ.

Алая книга. Стихотворенія. К-во «Грифъ».

Москва, 1907. Ц. 60 коп.

Редакторъ Сергій Соколовъ.

Исправляемъ невѣрную справку, имѣвшую мѣсто въ рецензіи о переводѣ „Кайна“ Байрона (№ 6 „Перевала“):

1) переводъ „Донъ-Жуана“ ошибочно приписывается Ивану Козлову.

2) авторъ рецензіи упускаетъ изъ виду, что имѣется рядъ полныхъ переводныхъ изданий Байрона (Гербеля, Брокгауза и т. д.).

Отъ редакціи.

Рукописи, доставляемыя для печатанія въ „Перевалѣ“, должны быть четко переписаны, по возможности на пишущей машинѣ.

Рукописи объемомъ менѣе 1 печатнаго листа, не принятыя къ печати, не возвращаются. Также не возвращаются не принятыя стихотворенія.

По всѣмъ запросамъ, обращаемымъ къ редакціи, на отвѣтъ должны прилагаться марки.

За каждую перемѣну адреса подписчикомъ уплачивается 30 коп. При сообщеніи новаго адреса просятъ высылать прежнюю бандероль, безъ чего не можетъ быть сдѣлана перемѣна.

Лицамъ, купившимъ отдѣльные №№ „Перевала“, при подпѣскѣ №№ эти могутъ быть зачтены по разсчету 35 коп. за каждый №.

Книжные магазины, принимающіе подписку на „Перевалѣ“, могутъ удерживать 10% съ подписной платы.

Провинціальные книжные магазины и агентства, желающіе получать №№ „Перевала“ для розничной продажи, за условіями благоволять обращаться въ контору журнала.

Издатель Владимиръ Линденбаумъ.



— Подписная цѣна: —
на 1 г.—4 р., на $\frac{1}{2}$ г.—2 р.
25 к., на 3 мѣс.—1 р. 20 к.
За границу: на годъ 7 руб.
Отдѣльные №№ по 50 коп.